

Редьярд Киплинг

В горной Индии (сборник)



Редьярд Киплинг
В горной Индии (сборник)

«Public Domain»

1888

Киплинг Р. Д.

В горной Индии (сборник) / Р. Д. Киплинг — «Public Domain»,
1888

«...Лиспет была хорошей христианкой и, когда выросла, не отступилась от христианства, как делают многие горные девушки. Земляки ненавидели её за то, как они говорили, что она сделалась «белой женщиной» и каждый день умывалась, а жена капеллана не знала, что ей с ней делать. Нельзя заставлять мыть тарелки и блюда стройную богиню, ростом в пять футов и десять дюймов. Лиспет играла с детьми капеллана и училась в воскресной школе, перечитала все книги, какие были в доме, и с каждым днём хорошела, словно царевна в волшебных сказках. Жена капеллана говорила, что ей следует поступить няней в Симле или устроиться на какое-нибудь «порядочное» место. Но Лиспет не желала поступать в услужение. Она была счастлива и там, где жила...»

© Киплинг Р. Д., 1888

© Public Domain, 1888

Содержание

Лиспет	6
Заброшенный	9
Саис мисс Югхель	14
Посчастливилось	18
Последствия	21
Истребитель микробов	24
Арест поручика Голайтли	27
Пряатель моего приятеля	30
Ресслей из министерства иностранных дел	33
Для отзыва	36
Молодой задор	41
Свинья	45
В доме Седдху	50
Подлог в банке	54
«Поправка Тодса»	58
Бегство белых гусар	62
Ложный рассвет	67
«Бизара из Пури»	72
История Мухаммад-Дина	75

Редьярд Киплинг В горной Индии (сборник)

* * *

Лиспет

Она была дочерью горца Сону и Джадех, его жены. Один год случился неурожаем маиса, а на их единственном маковом поле, как раз над долиной Сэтлэджа, на Котгархской стороне, провели ночь два медведя. Поэтому в следующем году Сону с женой стали христианами и принесли своего ребёнка в христианскую миссию крестить. Котгархский священник окрестил девочку Елизаветой, или, как произносят горцы-пахари, Лиспет.

Через несколько лет после этого Котгархскую долину посетила холера и унесла Сону и Джадех, а Лиспет сделалась полуслужанкой, полукомпаньонкой жены котгархского священника. Это было после воцарения моравских миссионеров в тех местах, но до того, как Котгарх позабыл своё название «Владычицы северных гор».

Не знаю, христианство ли так усовершенствовало Лиспет, или боги её страны одарили её этим свойством, которому было суждено проявиться при каких угодно обстоятельствах, только она выросла прелестной девушкой. Если горная девушка красива, то стоит пройти пятьдесят миль по плохой дороге, чтобы взглянуть на неё. У Лиспет было греческое лицо, одно из тех лиц, которые люди рисуют так часто и видят так редко. Цвет её лица был бледный, как слоновая кость, и для своего племени она была необыкновенно высока. Глаза у неё были также чудные, и не одевайся она в отвратительное ситцевое платье, столь любимое миссионерами, вы бы могли, встретясь с ней неожиданно в горах, принять её за саму римскую Диану, вышедшую на охоту.

Лиспет была хорошей христианкой и, когда выросла, не отступилась от христианства, как делают многие горные девушки. Земляки ненавидели её за то, как они говорили, что она сделалась «белой женщиной» и каждый день умывалась, а жена капеллана не знала, что ей с ней делать. Нельзя заставлять мыть тарелки и блюда стройную богиню, ростом в пять футов и десять дюймов. Лиспет играла с детьми капеллана и училась в воскресной школе, перечитала все книги, какие были в доме, и с каждым днём хорошела, словно царевна в волшебных сказках. Жена капеллана говорила, что ей следует поступить няней в Симле или устроиться на какое-нибудь «порядочное» место. Но Лиспет не желала поступать в услужение. Она была счастлива и там, где жила.

Когда путешественники – их было немного в эти годы – заезжали в Котгарх, она обычно запиралась в своей комнате, боясь, как бы её не увезли в Симлу, к незнакомым людям.

Однажды, когда Лиспет уже было семнадцать лет, она пошла прогуляться. Она не гуляла, как гуляют английские дамы, уходя мили за полторы, а затем возвращаясь назад в экипаже или верхом. Она проходила миль двадцать – тридцать во время своих прогулок ради мощи – она между Котгархом и Нархундой. В этот раз она вернулась уже в сумерки, спускаясь с крутого склона, неся что-то тяжёлое в руках. Жена священника дремала в гостиной, когда Лиспет вошла, еле переводя дух, тяжёлой поступью, выбившись из сил со своей ношей. Она положила её на стол и сказала просто:

– Это мой муж. Я нашла его на дороге в Баги. Он расшибся. Мы выходим его, а когда он выздоровеет, ваш муж повенчает нас.

Впервые Лиспет высказала свои взгляды на замужество, и жена капеллана вскрикнула от ужаса. Однако необходимо было прежде всего заняться человеком, лежавшим на диване. Это был молодой англичанин, и на голове у него была рваная рана. Лиспет сказала, что она нашла его на склоне холма и принесла домой. Он как-то странно дышал и был без сознания.

Его положили в постель, и священник, кое-что понимавший в медицине, перевязал его рану, а Лиспет стояла за дверью на тот случай, если бы понадобилась её помощь. Она объяснила священнику, что намеревается выйти замуж за этого человека, и священник с женой прочли ей строгую проповедь по поводу такого неприличного поведения. Лиспет выслушала спокойно и подтвердила своё намерение. Нужна большая доза христианского чувства, чтобы искоренить

дикие восточные инстинкты, например, такие, как способность влюбляться с первого взгляда. Найдя человека, достойного её преклонения, Лиспет не понимала, для чего ей молчать о сделанном ею выборе. Она также не намеревалась уходить из Котгарха. Она собиралась ухаживать за этим англичанином, пока он не поправится настолько, что сможет жениться на ней. Такова была её программа.

После двухнедельной лёгкой лихорадки из-за воспаления раны англичанин пришёл в сознание и благодарил капеллана, его жену и Лиспет за их доброту. Он рассказал, что путешествовал по Востоку – в то время, когда компания Восточного пароходства была молода и имела мало судов и термин «глобтроттер» ещё не был известен – и пришёл из Дэра Дена, собирая растения и бабочек в горах Симлы. Таким образом, в самой Симле путешественника никто не знал. Он предполагал, что свалился со скалы, стараясь достать папоротник, росший на сгнившем древесном стволе, а носильщики-кули украли его багаж и убежали. Он намеревался, оправившись немного, вернуться в Симлу и больше уже не собирался продолжать лазать по горам.

Англичанин не спешил уходить и поправлялся медленно. Лиспет не слушала наставлений священника и его жены, поэтому последняя переговорила с англичанином и открыла ему сердечные дела Лиспет. Он долго смеялся и говорил, что это очень мило и романтично, но что у него уже есть невеста дома, так что он надеется, что все обойдётся благополучно. Он, конечно, будет вести себя благоразумно. И он сдержал своё обещание. Но беседы с Лиспет забавляли его: ему нравилось гулять с ней, нашёптывая ей милые вещи и называя её уменьшительными именами, в ожидании того времени, когда он окончательно поправится. Для него это не имело никакого значения, а для Лиспет значило все на свете. Она была бесконечно счастлива в продолжение этих двух недель, потому что нашла человека, которого полюбила.

Дикарка по рождению, она не пыталась скрывать своих чувств, и это забавляло англичанина. Когда он покидал миссию, Лиспет пошла его проводить по горам до Нархунды; она была грустна и несчастна. Жена священника, как добрая христианка и притом ненавидящая всякий намёк на скандал – Лиспет уже окончательно отбилась у неё от рук – посоветовала англичанину сказать Лиспет, что он вернётся, чтобы жениться на ней.

– Она ещё ребёнок, – говорила жена священника, – и, боюсь, в душе осталась язычницей.

Таким образом, на протяжении всех двенадцати миль, которые они прошли по горным дорожкам, англичанин, обняв за талию Лиспет, уверял её, что он вернётся и женится на ней, а Лиспет заставляла его повторять это обещание без конца. Стоя на Нархундском перевале, она плакала, пока англичанин не скрылся из глаз в Мутьянском проходе.

Потом она осушила слезы и вернулась в Котгарх, где сказала жене священника:

– Он вернётся и женится на мне. Он ушёл к своим, чтобы сказать им это.

И жена священника утешала Лиспет, говоря:

– Он вернётся, вернётся...

Когда прошло два месяца, Лиспет начала беспокоиться, и ей сказали, что англичанин уехал в Англию, за море.

Она знала, где Англия, потому что проходила начальный курс географии, но, конечно, как уроженка гор, не могла представить себе, что такое море. В доме нашлась старая карта полушарий. Лиспет ещё ребёнком играла с ней. Теперь она снова открыла её, раскладывала по вечерам и плакала над ней, стараясь вообразить себе, где находится её англичанин. Так как она не имела никакого понятия о пространстве и пароходах, то представление получалось у неё довольно путаное. Впрочем, будь оно и вполне правильное, большой разницы не было бы, потому что англичанин не имел ни малейшего намерения возвращаться, чтобы жениться на уроженке гор. Он и думать забыл о ней, гоняясь за бабочками в Ассаме. Впоследствии он написал книгу о Востоке, но имя Лиспет в ней не встречается.

По прошествии трех месяцев Лиспет стала ежедневно ходить в Нархунд, чтобы посмотреть, не идёт ли англичанин по дороге. Это успокаивало её, а жена священника, видя её пове-

селевшей, думала, что она наконец выбросила из головы «эту варварскую и неделикатную глупость». Но через некоторое время прогулки уже не приносили успокоения Лиспет, и она стала очень раздражительной. Жена священника выбрала подходящую минуту, чтобы открыть ей действительное положение вещей: что англичанин только ради её утешения обещал любить её, что другого у него и в мыслях не было, а со стороны её, Лиспет, даже глупо и неприлично думать о браке с англичанином, слепленным из глины высшего качества, а кроме того, уже помолвленным с девушкой своего племени. Лиспет отвечала, что все это невозможно, и ведь сама же она, жена священника, уверяла её, что англичанин вернётся.

– Как же может быть неправдой то, что сказали вы и он? – спрашивала Лиспет.

– Мы сказали это, чтобы только успокоить тебя, – отвечала жена священника.

– Стало быть, вы лгали, – заключила Лиспет, – вы оба?

Жена священника опустила голову и не ответила ничего. Лиспет молчала некоторое время, потом она пошла в долину и вернулась в одежде горной жительницы, невероятно грязной, но колец в носу и ушах у неё не было. Волосы свои она заплела в несколько тонких кос, перевитых чёрными нитками, как носят горные девушки.

– Я вернусь к своему народу, – сказала она. – Вы убили Лиспет. Осталась только бывшая дочь Джадех – дочь пахари и служительница Тарка Дэви. Все вы, англичане, лгуны.

Когда жена капеллана опомнилась от потрясения, испытанного ею при заявлении, что Лиспет вернулась к богам своей матери, девушки и след простыл, и её уже не видели больше в семье священника.

Она страстно полюбила жизнь своего нечистого народа, словно желая наверстать те годы, которые прожила вдали от него, и через некоторое время вышла замуж за дровосека, который бил её, по обычаю пахари, и её красота скоро поблекла...

– Нет такого закона, который помог бы вам предвидеть все сумасбродства язычников, – говорила жена священника, – и я уверена, что Лиспет в душе была всегда язычницей.

Принимая во внимание, что Лиспет была принята в лоно англиканской церкви в «зрелом» возрасте пяти недель, надо думать, что подобное заявление не делало чести жене священника.

Лиспет умерла старухой. Она всегда прекрасно говорила по-английски и, подвыпив, иногда соглашалась рассказать историю своей первой любви.

Трудно было тогда представить себе, что согбенное морщинистое существо, изношенное, как старая тряпка, та самая «Лиспет из Котгархской миссии».

Заброшенный

Неблагодарно воспитывать мальчика, как говорится, «под крылышком у родителей», если ему предстоит впоследствии жить вдали от семьи и самому пробивать себе дорогу. Разве одному из тысячи не придётся из-за этого испытывать массу совершенно излишних неприятностей, и следствием такого незнания настоящих жизненных условий может быть даже полное отчаяние.

Предоставьте щенку жевать кусок мыла у вашей ванны или лизать только что вычищенный сапог. Он будет лизать и жевать, пока не убедится, что от ваксы и душистого мыла ему делается очень скверно, после чего придёт к заключению, что вакса и мыло – вещи вредные. А любая большая дворовая собака покажет ему все неблагоприятные привычки вцепляться в уши больших псов.

Все это щенок запоминает, и к шести месяцам вступает в жизнь благовоспитанным зверьком, умеющим укрощать свои аппетиты. Подумайте сами, сколько трепок и болезней ему пришлось бы вынести впоследствии, если бы он не познакомился в детстве с мылом, сапогами и большими собаками и вздумал бы, повзрослев, когда у него уже окрепли зубы, испытать их силу. Применим это соображение к «воспитанию под крылышком» и посмотрим, какие получатся результаты. Сравнение, может быть, и не особенно изящное, но оно лучшее из двух зол.

Жил-был мальчик, выросший «под крылышком у родителей», и такой способ воспитания убил его. Он жил с родителями со дня своего рождения до часа, когда поступил, одним из первых по экзамену, в Сандхерстскую военную школу. Он был прекрасно обучен гувернёром всему, что требуется для получения хороших баллов, и про него говорили, что «он ни единого раза в жизни не огорчил ничем своих родителей». Знания, почерпнутые им в Сандхерсте, не выходили за пределы обычной рутины. Он стал осматриваться, и «мыло и вакса» пришлись ему по вкусу. Он поел их и вышел из Сандхерста, но уже не с такими высокими баллами, с какими поступил. Произошёл «антракт» и сцена с домашними, ожидавшими от него большего. Проживши год вдали от мира в каком-то третьестепенном резервном батальоне, где все низшие чины – дети, а высшие чины – старые бабы, он наконец отправился в Индию, где уже очутился без родительской поддержки и не мог ни на кого опереться в случае затруднения, кроме как на самого себя.

Но Индия, прежде всего, такая страна, где не следует относиться чересчур серьёзно к вещам, за исключением полуденного солнца. Слишком серьёзная работа и энергия убивают человека так же наверняка, как полное собрание пороков и постоянное пьянство. Лёгкое ухаживание не имеет значения, потому что переводы на другое место часты, и или он, или она уезжают со станции, чтобы никогда более не вернуться. Добросовестная работа в расчёт не принимается, так как о человеке судят по тому, что знают о нем дурного, а если он делает что-нибудь хорошее, то это приписывается другому. Плохая работа тоже не имеет значения, потому что другие люди делают хуже, и нигде плохие работники не удерживаются так долго, как в Индии. Развлечения не имеют значения, потому что, как только одно из них оканчивается, вы опять должны повторять его, и большинство увеселений состоит только в выигрывании денег у другого. И болезнь не имеет значения, потому что там она – дело обычное, а когда вы умрёте, другой человек займёт вашу должность и место в течение восьми часов между смертью и похоронами. На все смотрят легко, за исключением отпусков домой и получения жалованья, и то только потому, что они даются скупой. Это – вялая страна, где все работают несовершенными орудиями. И самая умная вещь, которую можно сделать, – это постараться вырваться куда-нибудь в такое место, где удовольствие действительно удовольствие и где добрая слава стоит того, кто ею обладает.

Но наш мальчик, приехав в горы, – старая уже это история, как сами горы – ко всему стал относиться серьезно. Он был недурён, и его баловали. Он баловство принимал также серьёзно и волновался из-за женщин, ради свидания с которыми не стоило бы седлать и пони. Новая жизнь на свободе в Индии нравилась ему. Привлекательными кажутся сначала, с точки зрения субалтерна, все эти гарцевания верхом, офицерские собрания, танцевальные вечера и т. п. Он попробовал всего этого, как щенок пробует мыло. Только опыт пришлось проводить поздно, когда все зубы уже выросли. У него не было чувства меры – совсем как у щенка – и он не понимал, почему к нему не относились с таким же почтением, какое он встречал под отеческим кровом. Это его обижало.

Он начал ссориться с другими молодыми людьми, сохранял в душе горечь, не мог забыть этих ссор, и они раздражали его. Ему нравилось играть в вист, в джимкана и т. п., вещи, которыми офицеры развлекаются после службы, но и ко всему этому он относился так же серьёзно, как относился серьёзно и к похмелью после выпивки. Он проигрывал в вист и джимкана потому, что они были для него внове.

К проигрышу он относился также серьёзно и потратил, например, массу энергии и интереса в игре на бегах местных пони, запряжённых в эка, ставя по два золотых могура, будто то было дерби. Отчасти все это происходило вследствие неопытности – вроде войны щенка с углом ковра, а отчасти – от растерянности, которую он ощущал, попав из тихой семейной жизни в сравнительно более светливую и оживлённую среду. Никто не предупреждал его насчёт мыла и ваксы, так как обычно считается, что обыкновенный человек относится к подобным вещам с известной осторожностью. Жаль было смотреть, как мальчик надрывался, напоминая холёного жеребчика, который падает и ранит себя, вырвавшись у наездника.

Такое необузданное увлечение увеселениями, ради которых не стоило бы даже пошевелить пальцем, а тем менее надрываться, тянулось целых полгода – целое холодное время года, а затем мы начали надеяться, что жара, сознание утраты денег и здоровья и ослабевшие силы научат мальчика умеренности, и он остановится. В девяносто девяти случаях из ста так и бывает, и вы можете наблюдать это на всех индийских «станциях». Но в данном случае вышло иначе, потому что мальчик был впечатлительный и принимал вещи всерьёз, как я уже повторял несколько раз. Мы, конечно, не могли не знать, насколько его неумеренность отражалась на нем лично. По-видимому, не было ничего такого, что могло бы причинить ему особенные душевные страдания или выходило за пределы обычного. Может быть, его денежные дела были в некотором расстройстве и он нуждался в заботливом внимательном уходе, но память о его проступках изгладилась бы сама собой в один жаркий сезон, а банкир помог бы ему выпутаться из финансовых затруднений. Однако он, по-видимому, имел другую точку зрения и счёл себя погибшим безвозвратно. Когда холодное время кончилось, полковник сделал мальчику строгое внушение; он после этого окончательно пал духом, хотя это была самая обычная полковничья «головомойка».

Последующее служит любопытным примером того, как мы все связаны друг с другом и ответственны один за другого. Окончательный смертельный поворот в сознании мальчика совершился благодаря замечанию женщины. Нет надобности повторять его – это просто было несколько жестоких слов, брошенных мимоходом, сказанных необдуманно и заставивших его вспыхнуть до корней волос. Он никуда не показывался целых три дня, а затем взял на двое суток отпуск, чтобы отправиться на охоту возле дачи инженера-гидравлика на канале, милях в тридцати от станции. Он получил разрешение уехать, и в этот вечер был в собрании шумливее и придиричвее обыкновенного. Он говорил, что едет охотиться за «крупной дичью», и отправился в половине десятого в эка – местной двуколке. Куропаток – единственную дичь, которая водилась вокруг дома инженера, – нельзя назвать крупной дичью, и поэтому все смеялись.

На следующий день один майор, вернувшийся из краткосрочного отпуска, услышал, что мальчик отправился на охоту за «крупной дичью». Майор принимал участие в молодом чело-

веке и уже не раз пытался образумить его. Услышав о предполагавшейся экспедиции, майор нахмурился и отправился в комнату молодого человека, где перерыл его вещи.

Выйдя оттуда, он застал меня как раз, когда я отдал свою карточку в офицерской столовой. Кроме нас, в передней не было никого.

Майор сказал:

– Мальчик отправился на охоту. Разве человек ходит на куропаток с револьвером и письменным прибором?

Я понял, что у него на уме, и ответил:

– Пустяки, майор!

Он возразил:

– Пустяки или не пустяки – я сейчас же отправлюсь на канал. Я сильно беспокоюсь. Подумав минуту, он прибавил: – Способны вы солгать?

– Вам лучше знать, – ответил я. – Такова моя профессия.

– Прекрасно, поедemте со мной сейчас же в экке к каналу на охоту за чёрными козами. Наденьте шикар (китель) и захватите ружьё.

Майор был человек положительный, и я знал, что он не станет отдавать приказаний попусту. Поэтому я повиновался и, вернувшись, увидел майора, укладывавшего в экку ружья и провизию – одним словом, все, что было нужно для охотничьей экспедиции.

Он отпустил возницу и взял вожжи сам. Проезжая мимо станции, мы двигались шагом, но, когда выехали на пыльную дорогу, майор погнал пони. Для туземной лошади нет ничего невозможного в критической ситуации. Мы пролетели тридцать миль меньше чем за три часа, но бедное животное еле держалось на ногах.

Дорогой я было спросил:

– Почему мы так отчаянно спешим, майор?

Он ответил спокойно:

– Мальчик был один четырнадцать часов! Говорю вам, у меня на душе беспокойно.

Его тревога передалась также мне, и я помогал погонять пони.

Когда мы доехали до домика инженера, заведующего каналом, майор позвал денщика молодого человека, но ответа не последовало.

Мы подошли к дому и звали мальчика по имени. Никто не отзывался.

– Он на охоте, – высказал я предположение.

В эту минуту я увидел в одно из окон горящую маленькую лампу с колпаком от ветра. Было четыре часа пополудни. Мы оба вышли на веранду, сдерживая дыхание, чтобы не проронить ни звука, и услышали в комнате «брр-брр-брр» – жужжание массы мух. Майор не сказал ничего, но снял шлем, и мы вошли неслышными шагами.

Мальчик лежал мёртвый на постели посреди пустой, выбеленной известью комнаты. Он раздробил себе голову выстрелом из револьвера. Ящики для ружей не были раскрыты, и постельные принадлежности не распакованы, а на столе стоял ящик с письменными принадлежностями и фотографическими карточками. Он ушёл умирать в нору, как отравленная крыса.

Майор тихо проговорил:

– Бедный мальчик! Бедняга! – Потом он отвернулся от постели и обратился ко мне:

– Ваша помощь нужна мне в этом деле.

Зная, что мальчик умер от собственной руки, я сразу догадался, в чем должна заключаться помощь, поэтому направился к столу, взял стул, зажёл сигару и начал просматривать содержимое письменного ящика. Майор смотрел мне через плечо, повторяя про себя:

– Опоздали! Словно крыса в норе! Бедняга!

Мальчик, вероятно, провёл половину ночи за письмами к домашним, к полковнику, к одной девушке на родине, а кончив все, покончил и с собой, так как, очевидно, смерть последовала задолго до нашего приезда.

Я прочёл все, написанное мальчиком, и передавал каждый лист майору.

Из этих бумаг мы увидели, как серьёзно молодой человек относился ко всему. Он писал о «несчастье, которое не в состоянии вынести», о «неизгладимом позоре», о «преступном безумстве», «потраченной без пользы жизни» и т. п. Затем в письме к отцу и матери заключались частные подробности, слишком священные, чтобы их можно было коснуться в печати. Письмо к знакомой девушке в Англии было самое трогательное, и у меня подступила к горлу судорога, когда я читал его. Майор даже не пытался скрыть наворачившихся слез. Я почувствовал к нему уважение за это. Он читал, покачиваясь, и попросту плакал, как женщина, не пытаясь сдержаться. Так ужасны, безнадежны и трогательны были письма. Мы забыли все безумства мальчика и только думали о бедняге, лежавшем без дыхания на постели, и об исписанных листках в наших руках. Невозможно было отправить эти письма по назначению. Они разбили бы сердце отца и убили бы мать, убив в ней предварительно веру в сына.

Наконец, майор вытер глаза, говоря:

– Нечего сказать, приятный сюрприз для семьи! Что нам делать?

Зная, зачем майор захватил меня, я ответил:

– Он умер от холеры. Мы были при нем. Мы не можем ограничиться полумерами. Пойдёмте.

Началась одна из самых мрачно-комических сцен, в какой мне когда-либо приходилось принимать участие, – составление длинной письменной лжи, подкреплённой фактами для успокоения родных мальчика. Я набросал общую схему письма, а майор вставлял местами подробности, в то же время собирая все написанное мальчиком и сжигая в камине. Был жаркий тихий вечер, когда мы начали, и лампа горела плохо. Наконец, я справился со своей задачей, к своему удовлетворению, выставив мальчика образцом всех добродетелей, любимцем всего полка, офицером, который мог рассчитывать на блестящую карьеру, и т. д. Я описал, как мы ухаживали за ним во время болезни – вы понимаете, что приходилось лгать так лгать, – и как он тихо скончался. Слезы подступали у меня к горлу, когда я подумал о беднягах, которые станут читать мою писанину. Затем я засмеялся над всей необычайностью этой выдумки. Всклипывания слились со смехом, и майор заявил, что обоим надо чего-нибудь выпить.

Мне страшно выговорить, сколько виски мы выпили, прежде чем закончили письмо; а между тем это не оказало на нас ни малейшего влияния. Затем мы взяли часы, медальон и кольца умершего.

Наконец, майор сказал:

– Надо послать прядь волос. Женщины ценят это.

Однако возникла причина, не позволившая нам найти пряди, которую бы мы могли послать. К счастью, мальчик был брюнет, так же как и майор. Я отрезал ножом у последнего прядь волос над виском и положил в приготовленный пакет. Опять я поперхнулся, и мне пришлось остановиться. Майор чувствовал себя не лучше моего, а между тем мы знали, что ещё самое худшее – впереди.

Пакет с фотографиями, медальоном, кольцом, письмом и прядью волос был запечатан сургучом мальчика и его печатью.

Тогда майор сказал:

– Ради Бога, уйдём отсюда, из этой комнаты, и поразмыслим.

Мы вышли из дому и целый час ходили по берегу канала, закусывая привезённой провизией, пока не взошла луна. Теперь я знаю, как должен себя чувствовать убийца! Наконец, мы принудили себя вернуться в комнату, где горела лампа и лежала «та, другая вещь», и принялись за последнее дело. Я не стану описывать, что мы делали: это слишком ужасно. После того

как сожгли постель, мы бросили пепел в канал; то же сделали и с находившимися в комнате циновками. Потом я пошёл в деревню и раздобыл две большие лопаты – мы не желали, чтобы нам помогали крестьяне, а майор занялся... прочим. Нам понадобилось целых четыре часа, чтобы вырыть могилу. Во время работы мы задали себе вопрос, не следует ли прочитать все, что у нас в памяти из заупокойного богослужения, и решили, что прочтём «Отче наш» с прибавлением краткой, сочинённой нами самими, молитвы за упокой души умершего. После этого мы закопали могилу и вернулись на веранду, но не в дом, чтобы поспать. Мы устали до смерти.

Проснувшись утром, майор сказал недовольным тоном:

– Нам нельзя уехать раньше завтрашнего дня: надо ему дать время умереть прилично.

Помните, он умер сегодня утром на заре. Это покажется естественнее.

Вероятно, майор не спал всю ночь, придумывая.

– Почему же мы не привезли тело в лагерь? – спросил я.

– Народ попрятался, когда узнал, что это холера, а эка уехала, – ответил он, подумав минуту.

Это было совершенно верно: мы совсем забыли о пони, запряжённом в двуколку, и он преспокойно убежал домой.

Так мы провели весь этот удушливый день, вдвоём на даче инженера, повторяя рассказ о смерти мальчика, чтобы убедиться, что в нем нет слабого пункта. Под вечер зашёл туземец, но мы сказали ему, что сахиб умер от холеры, и он убежал. Когда стали сгущаться сумерки, майор высказал мне свои опасения относительно мальчика и его самоубийства, так что у меня волосы встали на голове дыбом. Он вспомнил, как сам в дни юности, будучи новичком в стране, чуть было однажды не спустился в эту же «долину теней», как мальчик. Поэтому он понимал, что творилось в бедной перебудораженной голове молодого человека. Он так же говорил, что молодёжь в минуту раскаяния склонна считать свои проступки более серьёзными и неизгладимыми, чем они есть на самом деле. Мы проговорили весь вечер, доискиваясь причины смерти мальчика. Как только луна взошла и покойник – как то должно было совершиться по выдуманному рассказу – был похоронен, мы направились в лагерь, куда пришли после двенадцатичасовой ходьбы, в шесть часов утра. Но, несмотря на свою смертельную усталость, мы не забыли зайти в комнату мальчика и вложить револьвер со всеми патронами в футляр, а также поставить письменные принадлежности на стол. Потом мы отправились к полковнику и доложили ему о смерти, чувствуя себя, больше чем когда-либо, убийцами. Наконец, мы улеглись и проспали целые сутки.

Рассказу верили, пока было нужно, потому что не прошло и двух недель, как все позабыли о мальчике. Однако находились люди, ставившие в вину полковнику, что он не устроил полковых похорон. Самой же грустной вещью было получение мной и майором письма от матери мальчика – письма, всего испещрённого чернильными потёками. Она трогательно благодарила нас за доброту и говорила, что до смерти будет нашей должницей.

В сущности, она была должницей, но не в том смысле, как подразумевала это.

Саис мисс Югхель

Есть люди, которые утверждают, что в Индии не бывает романов. Они говорят это совершенно напрасно. В нашей жизни столько романтического, сколько полагается. А иногда и больше.

Стрикленд служил в полиции, и люди не понимали его. Так, например, говорили, что он человек двуличный и служит нашим и вашим. В этом Стрикленд был виноват сам. Он придерживался необычной теории, что полицейский чиновник в Индии должен стараться знать туземцев так же хорошо, как они знают сами себя. И теперь в Индии есть только один человек, который может сойти и за индуса и за магометанина, за фокусника или факира, за кого угодно. Туземцы от Гора Катри до Джамма Мусджид боятся и уважают его, и про него говорят, что он обладает даром делаться невидимым и повелевать многими демонами. Однако индийское правительство не оценило его за все это.

Стрикленд был настолько легкомыслен, что взял себе этого человека за образец и, следуя своей фальшивой теории, бывал в самых грязных притонах, куда ни один порядочный человек не решился бы заглянуть, – среди самых подонков туземного населения.

В продолжение целых семи лет он готовил себя таким образом, и никто не оценил такой подготовки. Он постоянно присутствовал при всех туземных «колдовствах», в которые, конечно, не верит ни один человек, не лишённый здравого смысла.

Однажды, когда он был в отпуске, его посветили в Аллагабаде в сат-бхаи, он знал песню ящериц и танец халли-хукк – что-то вроде религиозного канкана самого странного характера. Если человек умеет плясать халли-хукк и знает, когда и как и где плясать, то он, значит, знает кое-что, чем может гордиться. Стало быть, он знает самую суть вещей. Но Стрикленд не гордился, хотя однажды в Джагадри помогал рисовать «быка смерти», на которого англичанину не позволяется даже взглянуть. Он понимал воровской язык шангаров, поймал однажды без посторонней помощи конокрада Юзуфая близ Аттока, стоял под навесом кафедры одной из пограничных мечетей и служил, как какой-нибудь сунни-мулла.

Он достиг высшей точки своего совершенства, прожив одиннадцать дней факиром в садах Баба Атала в Амритсаре, собирая нити для раскрытия большого дела об убийстве Назибана. Но люди говорили, не без основания:

– Почему Стрикленд не может сидеть в своей канцелярии, вести свой журнал, толстеть и ни во что не вмешиваться, вместо того чтобы выставлять на вид неспособность своего начальства?

Так, например, раскрытие убийства Назибана не принесло ему никакой пользы в служебном отношении, но после первой вспышки досады он вернулся к своему привычному существованию, стараясь проникнуть во все потаённые уголки жизни туземцев. Раз почувствовав вкус к такому занятию, человек уже отдаётся ему всецело. Это – самое увлекательное из удовольствий, не исключая даже любви. В то время как другие служащие берут отпуск дней на десять, чтобы съездить в горы, Стрикленд употреблял свой отпуск на «щикар» – охоту, так он называл свои экскурсии. Он надевал костюм, какой нравился ему в данную минуту, смешивался с темнокожей толпой, и она на время поглощала его.

Он был спокойный смуглый молодой человек – скромный, черноглазый и – когда мысли его не были заняты чем-нибудь другим – интересный собеседник. Когда он говорил о прогрессе среди туземцев, его стоило послушать. Туземцы ненавидели Стрикленда, но и боялись его. Он знал слишком много.

Когда семья Югхель приехала на станцию, Стрикленд серьёзно, как делал все, влюбился в мисс Югхель, и она через некоторое время тоже влюбилась в него, потому что не могла понять его. Стрикленд обратился к родителям, но мистрис Югхель сказала, что не намерена бросать

дочь в самое дурно оплачиваемое ведомство империи, а старик Югхель в очень многословной речи дал понять, что ему не нравится деятельность Стрикленда и что он был бы очень благодарен ему, если бы он не говорил больше с его дочерью и не писал ей.

– Хорошо, – ответил Стрикленд, потому что вовсе не желал отравлять жизнь любимой девушке. После долгого разговора с самой мисс Югхель он совсем отступился.

В апреле Югхель уехали в Симлу.

В июле Стрикленд попросил трехмесячный отпуск по «неотложным домашним делам». Он запер свой дом, хотя ни один туземец ни за что на свете не коснулся бы вещей Эстрикин-сахиба, и отправился навестить одного из своих знакомых в Тарн-Таран.

Тут следы его затерялись, пока однажды на бульваре в Симле какой-то саис-слуга не подал мне записку следующего странного содержания:

«Дорогой старина. Вручи, пожалуйста, подателю сего ящик сигар, лучше если крепких № 1. Они – самые свежие в клубе. Заплачу, когда появлюсь снова на горизонте, теперь же я вне общества. Э. Стрикленд».

Я заказал два ящика и передал их саису, приказав кланяться. Этот саис был сам Стрикленд: он служил у старика Югхеля и ухаживал за арабской лошадей мисс Югхель. Бедняга соскучился по английскому табаку и знал, что я, во всяком случае, буду держать язык за зубами, пока все не кончится.

Вскоре мисс Югхель, любившая похвалиться своими слугами, начала рассказывать в домах, где бывала, о кладе – саисе, попавшемся ей, – о человеке, которому всегда хватало времени встать поутру и нарвать цветов к завтраку и который чернил, буквально ваксил, копыта своей лошади, как лондонский кучер! Арабская лошадь мисс Югхель была выхолена на славу. Наградой Стрикленду, т. е. Дулу, служили приятные вещи, которые мисс Югхель говорила ему во время прогулок. Её родители радовались, что она выбросила из головы глупое увлечение молодым Стриклендом, и хвалили её.

Стрикленд признает, что два месяца, проведённые им в услужении, были для него временем самой строгой умственной дисциплины, какую ему пришлось испытать в жизни. Уж не говоря о том, что в него влюбилась одна из жён его товарища саиса и пыталась было отравить его за то, что он не обращал на неё внимания, он должен был изо всех сил сдерживать себя, когда мисс Югхель уезжала на прогулку с кем-нибудь, кто ухаживал за ней, а ему приходилось ехать позади, держа попоны и слыша каждое слово! Точно так же ему приходилось держать себя в руках, когда на него кричал какой-нибудь полисмен у театрального подъезда, и особенно однажды, когда с ним грубо обошёлся один наик, которого он сам нанял в деревне Иссер-Джанг. Совсем же мучительно трудно было сдержаться, когда молодой субалтерн назвал его свиньёй за то, что он не слишком быстро посторонился.

Однако жизнь у Югхель также и вознаграждала его за многое. Стрикленд близко познакомился с обычаями и кражами саисов – так близко, что, будь он на службе, он мог бы привлечь к ответственности половину населения Пенджаба. Он сделался одним из лучших игроков в бабки, в которые все джампанисы и многие саисы играют, ожидая ночью господ у собрания или театра. Он научился курить табак, на три четверти состоявший из коровьего навоза, и набирался мудрости у старого саиса собрания Джемодара, в словах которого было много ценного. Он видел многое, что заинтересовало его, но заверял честным словом, что никто не в состоянии настоящим образом оценить Симлы, пока не посмотрит на неё с точки зрения саиса. Он также говорил, что, вздумай он описать все виденное, у него череп лопнул бы во многих местах.

Рассказ Стрикленда о мучениях, которые он испытывал в серые ночи, слушая, закутав голову попоной, музыку и смотря на освещённые залы «Бенмора», когда ноги его так и проносились танцевать вальс, довольно забавен. Теперь Стрикленд собирается написать книжку о пережитом. Эту книжку стоит купить, а ещё больше – изъять из обращения.

Таким образом, он служил верой и правдой, как Иаков служил, чтобы получить Рахиль, и отпуск его подходил к концу, когда произошёл взрыв. Он действительно сдерживался, как мог, видя ухаживания, о которых я упомянул, но, наконец, и его терпение лопнуло. Один старый, заслуженный генерал сопровождал мисс Югхель на прогулке верхом и начал особенно обидно ухаживать за ней, как бы желая показать, что «она ещё маленькая девочка». Женщине при этом трудно притвориться глухой, а постороннему слушателю есть от чего сойти с ума. Мисс Югхель дрожала от страха, что генерал говорит такие вещи в присутствии её саиса. Дулу – Стрикленд терпел, пока хватало сил, но, наконец, схватил лошадь генерала под уздцы и на чистейшем английском языке посоветовал ему замолчать, если он не хочет полететь вниз со скалы. Мисс Югхель заплакала, а Стрикленд понял, что бесповоротно выдал себя и погубил все.

Генерал чуть не упал в обморок, когда мисс Югхель, рыдая, рассказала ему историю мас-карада и сватовства, о котором её родители не хотели и слышать. Стрикленд был зол на самого себя, а ещё больше на генерала, принудившего его выйти из себя. Он не говорил ничего, но держал лошадь под уздцы, намереваясь ради удовлетворения поколотить генерала. Но, уразумев, в чем дело, и узнав, кто такой Стрикленд, генерал начал пыхтеть и подпрыгивать от смеха в седле. Он сказал, что Стрикленд заслуживает награду уже за то, что решился надеть попону саиса. Потом он начал бранить себя, говоря, что заслужил трёпку, но слишком стар, чтобы принять её от Стрикленда. После этого он поздравил мисс Югхель с таким поклонником. Вся эта история не казалась ему скандальной, потому что он был славный старичок, любивший поухаживать. Наконец, он ещё раз рассмеялся и назвал старика Югхеля дураком. Стрикленд выпустил узду лошади и спросил, не согласится ли генерал помочь ему и его невесте. Молодой человек знал слабость Югхеля к титулам и высокопоставленным лицам.

«Все это похоже на коротенький фарс, – сказал генерал, – но клянусь, помогу, хотя бы для того, чтобы избавиться от той ужасной трёпки, которой я заслуживаю. Отправляйтесь-ка домой, милый саис-полисмен, переоденьтесь в приличный костюм, а я поведу атаку на мистера Югхеля. Мисс Югхель, могу просить вас проехать домой и ждать?»

Минут через семь в клубе произошёл переполох: какой-то саис в попоне и чалме обращался ко всем своим знакомым с просьбой: «Ради Бога, одолжите мне приличное платье!» Так как никто не узнавал его, то произошёл целый ряд комических сцен, прежде чем Стрикленду удалось добиться горячей ванны с содой и достать у одного рубашку, у другого – воротник, у третьего – панталоны и т. д. Он поскакал к дому старого Югхеля, увозя на себе одежду, собранную у половины членов клуба, а под собой чужого пони. Генерал, в красном мундире и тонком бельё, опередил его.

Что говорил генерал, этого Стрикленд никогда не узнал, но Югхель принял его довольно вежливо, а мистрис Югхель, тронутая преданностью преобразившегося Дулу, была почти любезна. Генерал кипятился и клокотал, мисс Югхель вошла, и, прежде чем старый Югхель успел опомниться, родительское согласие было получено, и Стрикленд с мисс Югхель отправились послать телеграммы родным в Европе. Последней неприятностью оказалась встреча на бульваре с незнакомцем, который потребовал у Стрикленда своего пони.

Наконец, Стрикленд и мисс Югхель обвенчались, причём Стрикленду было поставлено условие – непременно бросить свои привычки и заняться обычными делами своего ведомства, которые лучше оплачиваются и ведут к переводу в Симлу. Стрикленд был тогда слишком влюблён в свою жену, чтобы нарушить слово, но это было для него мучительно, потому что улицы и базары со всем их шумом были полны особенного для него смысла и постоянно возбуждали в нем желание возобновить свои странствования и открытия. Со временем я расскажу вам, как он нарушил своё обещание, чтобы выручить из беды приятеля. Это было уже давно, и к тому времени он уже потерял способность к «охотам». Он забывает народный язык, песни

нищих, условные знаки и разные ходы в нижних туземных слоях, с которыми нельзя прерывать знакомства, если хочешь ходить по ним.

Но он прекрасно справляется со своей должностью в ведомстве.

Посчастливилось

Если вы выйдете за линию официальных приёмов, официальных ведомостей о производствах и официальных балов – за линию всех и всего, в кругу чего вы вращались в своей почтённой жизни – вы, в своё время, переступите пограничную черту, где исчезает последняя капля белой крови и широким потоком вступает в свои права чёрная. Легче разговаривать с новоиспечённой герцогиней, ещё находящейся под впечатлением торжественной минуты, чем с пограничным жителем: того и гляди, чем-нибудь нарушишь обычай или обидишь. Чёрные и белые постоянно сталкиваются в своей деятельности, причём иногда белые обнаруживают какое-то безграничное детское тщеславие – извращённое чувство национальной гордости, – а иногда вспышки происходят среди чёрных, сохраняющих, при доведённых до крайности унижении и покорности, свои полуязыческие обычаи и непонятную стихийную склонность к преступлению.

Мисс Веццис приехала из-за пограничной черты, чтобы присматривать за детьми одной леди, пока не прибудет настоящая нянька. Леди говорила, что мисс Веццис была плохая, грязная, нерадивая нянька. Леди никогда не приходило в голову, что у мисс Веццис могла быть собственная личная жизнь и дела, над которыми надо было подумать, и что эти дела для мисс Веццис были важнее всего на свете. Весьма немногие хозяйки способны на подобные рассуждения. Мисс Веццис была черна, как сапог, и, по нашим понятиям, безобразна. Она ходила в ситцевых юбках и стоптанных башмаках и, теряя терпение с детьми, ругала их на языке пограничной черты, составляющем смесь английского, португальского и туземного. Она не была привлекательна, но имела чувство собственного достоинства и предпочитала, чтобы её звали «мисс Веццис».

Каждое воскресенье она разряжалась в пух и прах и ходила в гости к мамаше, которая проводила большую часть своей жизни на старом бамбуковом стуле в засаленном капоте из полупрозрачной местной шёлковой материи, в кроличьей норе – доме, кишевшем Перьерами, Рибиерами, Лисбоасами, Гонзальвесами и целым населением тряпичников. Вся вонючая каморка, увешанная юбками на шнурках, была завалена объедками купленной на рынке провизии, чесноком, горами старья по углам, старыми бутылками, оловянными распятиями, фетишами, гипсовыми изображениями Пресвятой Девы и шляпами без доньшек.

Мисс Веццис каждую неделю препиралась с мамашей из-за процента, который должна была давать ей на хозяйство. Когда препирательства кончались, за низким забором, сложенным из грязи, показывался Михеле д'Крез и любезничал с мисс Веццис, и, по обычаю пограничников, очень церемонно. Михеле был худой, болезненный бедняк, тоже совершенно чёрный, но и у него было много собственного достоинства. Он ни за что не допустил бы, чтобы его увидели курящим хука, и смотрел на туземцев сверху вниз, как человек, у которого в жилах только семь девярых туземной крови. И семья Веццис тоже имела, чем гордиться. Она вела своё происхождение от мифического укладчика рельсов, работавшего на Сонском мосту, когда железные дороги были ещё новостью в Индии, и Веццис ценила своё английское происхождение. Михеле был телеграфист, получавший 35 рупий в месяц. И его пребывание на государственной службе заставляло мисс Веццис смотреть снисходительно на немногочисленность его предков.

Существовала примирительная легенда – Дон Ана, портной, принёс её из Пупани, – что чёрный еврей из Кохина как-то женился на одной из дочерей семьи д'Крез, а с другой стороны, не было ни для кого тайной, что один из дядей мисс д'Крез и в настоящее время служил поваром в одном из клубов Южной Индии. Он посылал м-с д'Крез по семь рупий ежемесячно, но она тем не менее глубоко чувствовала, как это унижительно для её семьи.

Через несколько воскресений м-с Веццис, наконец, решила закрыть глаза на все недостатки и дала своё согласие на замужество своей дочери с Михеле при условии, чтобы у него

было не меньше пятидесяти рупий в месяц для начала семейной жизни. Вероятно, такая изумительная предусмотрительность была наследством, перешедшим в её кровь от мифического укладчика рельсов, потому что представители пограничного населения считали для себя роскошью жениться, когда вздумается, а не когда можно.

Принимая во внимание существовавшие в ведомстве порядки, ставить такое условие бедному телеграфисту было все равно, что потребовать от него, чтобы он руками поймал луну. Но Михеле любил мисс Веццис, и это помогло ему ждать. Он сопровождал мисс Веццис к обедне по воскресеньям, а после обедни, идя по раскалённым пыльным улицам домой, клялся различными святыми, имена которых не интересны для вас, никогда не забыть мисс Веццис; а она, со своей стороны, клялась честью и святыми – клятва начинается словами и оканчивается тремя поцелуями: в лоб, левую щеку и губы – что она тоже никогда не изменит Михеле.

На следующей неделе Михеле перевели, и мисс Веццис оросила слезами подоконник вагона, в котором её жених уезжал со станции.

Взглянув на карту телеграфного сообщения в Индии, вы увидите длинную телеграфную линию, тянущуюся вдоль берега от Бекергенджа до Мадраса.

Михеле назначили в Тибасу, маленькую второстепенную станцию, приблизительно на второй трети этой линии к югу. Отсюда он отправлял телеграммы между Бергампуром и Чиволокой, а сам думал о мисс Веццис и изобретал способы, как бы заработать до пятидесяти рупий в часы, свободные от службы. До него доносился шум Бенгальского залива, и единственным товарищем его был бенгалец – бабу. Михеле посылал мисс Веццис сумасшедшие письма, с крестами, нарисованными внутри конверта.

Когда Михеле прожил в Тибасу около трех недель, произошёл случай, который оказался для него счастливым.

Не надо забывать, что если туземец не имеет беспрестанно перед глазами знаков нашего могущества, то он, как ребёнок, не способен понять, что значит власть и какую опасность влечёт за собой неповиновение ей. Тибасу – это маленькое захолустное местечко, все население которого состоит из многочисленных магометан племени орисса. Давно не видел сахиба – сборщика податей и относясь с полным презрением к помощнику судьи, индусу, они решили устроить маленький мятеж на свой страх и риск. Сначала индусы возмутились и разбили несколько голов, но затем, находя, что жить без закона куда приятнее, присоединились к магометанам и устроили бесцельное восстание, ради того только, чтоб посмотреть, до чего можно дойти. Они грабили друг у друга лавки и обычными способами выражали взаимную ненависть. Вышел отвратительный погром, однако не из таких, о которых пишут в газетах.

Михеле работал в телеграфной конторе, когда до него донёсся шум, который человек, услышав раз, уже не забудет в своей жизни – крики «а-ва!» расвирепевшей толпы. Когда этот звук спускается тона на три и превращается в глухое, низкое до, то человеку лучше, если он один, убираться подобру-поздорову. Старший полицейский из туземцев вбежал и сказал Михеле, что в городе мятеж и толпа бежит к телеграфной конторе, чтобы разгромить её. Бабу надел фуражку и преспокойно выпрыгнул из окна, между тем как полицейский инспектор, испуганный, но, повинувшись инстинкту, свидетельствующему о капле белой крови в его жилах, спросил:

– Какие будут указания, сахиб?

Обращение «сахиб» пробудило решимость Михеле. Несмотря на смертельный страх, он сознавал, что в настоящую минуту он, в числе предков которого находился кохинский еврей и дядя которого был поваром, – единственный представитель английского правительства здесь. Потом он подумал о мисс Веццис, о пятидесяти рупиях и решил взять на себя роль распорядителя. В Тибасу находилось семь туземных полицейских, у которых было четыре грязных гладкоствольных ружья. Все полицейские посерели от страха, однако подчинились команде. Михеле оставил ключ аппарата и вышел во главе своей армии навстречу толпе.

Когда ревущая шайка обогнула угол, Михеле отдал приказ выстрелить, и стоявшие позади него полицейские инстинктивно спустили курки.

Вся толпа – чернь самой чёрной кости – с криком бросилась бежать, оставив на месте одного убитого и одного смертельно раненного. С Михеле пот катился от страха, но он скрыл свою слабость и отправился прямо в город, мимо дома, где забаррикадировался помощник судьи. Улицы были пусты.

Михеле вернулся в телеграфную контору и отправил депешу в Чикаколу, прося подкрепления. Не успел он ещё получить ответ, как к нему явилась делегация из старшин Тибасу, от помощника судьи, который находил его поведение «неконституционным» и старался придаться к нему. Но в груди Михеле билось великодушное сердце белого человека, полное любви к мисс Веццис, бонне, и в первый раз отведавшее ответственности и успеха. Эти две причины составляют опьяняющий напиток и погубили, пожалуй, народа больше, чем виски. Михеле сказал, что помощник судьи может рассуждать, как ему угодно, но что до прибытия подкрепления телеграфист представляет собой индоостанское начальство в Тибасу, а старшины будут ответственны за дальнейшие буйства... Они склонили головы и сказали: «Будь милосерден!» или что-то в этом роде и ушли в страхе, обвиняя друг друга в начале погрома.

Рано на заре, прохаживая со своими семью полисменами всю ночь патрулем по улицам города, Михеле выслал на дорогу людей встретить помощника податного, явившегося укрощать Тибасу. Но в присутствии этого молодого господина Михеле почувствовал, как он все больше и больше возвращался в своё первобытное состояние туземца. Рассказ, доведённый с большим усилием до конца, окончился истерическим потоком слез, вызванных сознанием, что он, Михеле, убил человека и что он не может уже испытывать подъёма духа, как в течение ночи, и досадой, что язык его не в состоянии выразить его подвигов. Белая капля иссякла в жилах Михеле, хотя он и не сознавал этого.

Но англичанин понял и, проучив тибасских мятежников, написал письмо, в котором описал поведение телеграфиста. Письмо дошло, куда ему следовало, и имело последствием перевод Михеле на другую государственную должность с жалованьем в шестьдесят шесть рупий в месяц.

Таким образом, свадьба мисс Веццис и Михеле состоялась с большой помпой и церемониями, и теперь уже несколько молодых Михеле бегают по верандам центральной телеграфной конторы.

Но если бы весь бюджет министерства, в котором служил Михеле, был назначен наградой, то и тогда он не был бы способен во второй раз проделать то, что он сделал однажды из-за любви к мисс Веццис, бонне.

Это служит доказательством того, что, если человек делает что-нибудь совершенно несоотносимое с получаемым им жалованьем, в семи случаях из девяти надо искать за такой добродетелью женщину.

В двух же исключениях причиной, вероятно, бывает солнечный удар.

Последствия

Бывают назначения в Симлу на год, на два и даже на пять лет, а есть – или, по крайней мере, бывали – и постоянные назначения, когда человек оставался на месте всю свою жизнь, наживая румяные щеки и кругленький доход. Конечно, в холодное время года позволялись отпуска, потому что в Симле в это время года тоска смертная.

Таррион прибыл Бог весть откуда – из какого-то захолустья в Центральной Индии, где, кажется, ездят на телках. Он принадлежал к какому-то полку, но более всего ему именно хотелось отделаться от этого полка и навсегда поселиться в Симле. Он не отдавал предпочтения никакому занятию в частности, лишь бы у него была добрая лошадь и хороший товарищ. Он думал, что может всякое дело делать хорошо – очень приятная уверенность, если человек держится за неё всем сердцем. Таррион кое-что знал, был недурён собой и умел – даже в Центральной Индии – устроить так, что всем бывало с ним приятно.

И вот он поехал в Симлу, и так как был неглуп и интересен, то, естественно, попал под покровительство м-с Хауксби, которая ко всему относилась снисходительно, кроме глупости. Однажды он оказал ей большую услугу, подделав приглашение на бал, на котором м-с Хауксби непременно хотелось быть; полковой адъютант, с которым она поссорилась, – человек мелочный – постарался послать ей приглашение на танцевальный вечер шестого вместо большого бала двадцать шестого. Подделка была сделана так искусно, что, когда м-с Хауксби показала свою пригласительную карточку адъютанту, он подумал, что сделал ошибку, и решил очень умно, что бороться с м-с Хауксби не стоит.

Она была благодарна Тарриону и спросила его, что она может сделать для него.

Он ответил просто:

– Я здесь не имею никакого поручения; я в отпуске и смотрю, не подвернётся ли что-нибудь. Во всей Симле у меня ни одного знакомого. Имя моё неизвестно никому, от кого зависит какое-нибудь место, а именно место мне нужно – надёжная хорошая должность. Я уверен, что вы можете сделать все, что пожелаете. Поможете вы мне?

М-с Хауксби задумалась на минуту, проводя кончиком хлыста по губам, как делала всегда, когда размышляла. Потом её глаза сверкнули, и она ответила:

– Помогу!

Они пожали друг другу руки. Таррион, вполне веря в великую женщину, не стал расспрашивать дальше, а только думал, какая должность выпадет на его долю.

М-с Хауксби начала мысленно перебирать начальников различных ведомств и членов совета, каких знала, потому что сама заинтересовалась игрой. Потом она взяла список гражданских должностей и просмотрела полагающиеся содержания. В этом списке есть великолепные жалованья. И вот м-с Хауксби решила, что хотя Таррион и слишком хорош, чтобы служить в полиции, однако она прежде всего попытается пристроить его туда. Нам нет дела до её личных соображений при этом, потому что счастье или судьба играли ей на руку, и ей только оставалось следить за ходом событий и пользоваться ими.

Каждому вице-королю, вступающему в должность, предстоит окунуться в омут секретной дипломатии или переписки. Со временем её становится меньше, но вначале каждому, как новичку, приходится пройти через этот искуc. Вице-королю, о котором идёт речь – это было давно, ещё до приезда лорда Дефферина из Канады, а лорда Рипона – из лона английской церкви, – приходилось очень плохо, и результатом было то, что люди, не привыкшие к хранению официальных секретов, ходили с самыми несчастными лицами, а вице-король гордился, что он сумел приучить свой штаб к сдержанности.

Высшие власти имеют неосторожный обычай поручать свои распоряжения печатным бумагам. Каких только секретов не доверяется этим бумагам – от уплаты 200 рупий за «сек-

ретную услугу» туземцу до правительственных выговоров веккилям и мотамидам туземных государств, причём рекомендуется им держать свои дома в порядке, не красть чужих жён, не засыпать глаза врагам красным перцем, вообще не позволять себе выходок подобного рода. Понятное дело, что подобные вещи нельзя передавать явно, потому что официально туземные властители непогрешимы, и, по официальным сведениям, их земли управляются так же хорошо, как английские. Точно так же назначение наград в частном порядке не всегда удобно публиковать в газетах, хотя и в них иногда попадаются довольно курьёзные известия. Когда высшие власти находятся в Симле, эти бумаги изготавливаются там и доставляются на дом по почте.

Сам принцип секрета был для вице-короля так же важен, как его выполнение, и он считал, что благожелательный деспотизм, вроде английского, не может терпеть даже таких мелочей, как, например, чтобы назначение последнего писца становилось известно раньше времени. Вице-король всегда был человек принципов.

В это время в канцелярии была заготовлена пачка очень важных бумаг. Они должны были пропутешествовать от одного конца Симлы до другого с рассыльным. Они были вложены не в официальный пакет, а в большой четырехугольный конверт бледно-розового цвета. И сами бумаги были написаны на мягкой министерской копировальной бумаге. Пакет был адресован Хип-Клерк, главному секретарю и т. д. Ну, конечно, между Хип-Клерк и м-с Хауксби с росчерком уж не такая большая разница, когда адрес написан плохим почерком, как было на этот раз.

Рассыльный, несший пакет, был не глупее большинства рассыльных. Он попросту забыл, куда надо отдать этот пакет, имевший вовсе не официальный вид, и поэтому спросил у первого попавшегося англичанина, как оказалось, очень спешившего. Англичанин, мельком взглянув на пакет и крикнув: «М-с Хауксби!» – поскакал дальше. Рассыльный послушался: пакет был последний из всех переданных ему, и ему хотелось поскорей отделаться от него. Разносной книги не было, поэтому он преспокойно передал пакет слуге м-с Хауксби и отправился курить с товарищем. М-с Хауксби ждала выкройки на копировальной бумаге от знакомой и поэтому, вскрикнув: «Ах, какая милая!» – она вскрыла пакет и все министерские бумаги посыпались на пол.

М-с Хауксби начала их читать. Я уже упомянул, что бумаги были важные. Для читателя достаточно знать это. Они относились к одной переписке, заключали неотложное приказание туземному главе, два важных распоряжения и с десяток других вещей. У м-с Хауксби дыхание перехватило, когда она читала, потому что первый взгляд на всю правительственную индийскую махинацию без прикрывающих её прикрас, лакировки и всяких ухищрений производит впечатление даже на самого глупого человека. А м-с Хауксби была женщина умная. Сначала она немного испугалась, как будто схватила спичку за горящий конец и не знала, что с ней делать. На полях бумаги стояли разные буквы и отметки, и некоторые примечания были даже суровее самой бумаги. Буквы относились к людям уже давно умершим или оставившим свою деятельность; но в то время они были всеильны. М-с Хауксби читала и, читая, спокойно думала. Она поняла всю важность своей находки и рассуждала, как лучше использовать её. Тут пришёл Таррион, и они вместе снова пересмотрели все бумаги. Таррион, не знавший, как они попали к м-с Хауксби, все больше убеждался, что м-с Хауксби – величайшая женщина на свете. И я думаю, что это правда, или почти правда.

– Честный путь всегда лучший, – сказал Таррион после полуторачасового обсуждения и разговоров. – Мне кажется, что справочный отдел был бы для меня самым подходящим. Или это, или министерство иностранных дел. Поведу осаду против великих богов в их капищах.

Он не стал обращаться к кому-либо мелкому из сильных или к слабому главе сильного ведомства, нет: он отправился прямо к сильнейшему и крупнейшему представителю правительства и объявил ему, что желает получить в Симле место с хорошим жалованьем.

Такая беззастенчивая дерзость показалась сановнику очень забавной, а так как ему нечего было делать в эту минуту, то он выслушал предложения смелого Тарриона.

– Предполагаю, что вы имеете какой-нибудь аттестат, кроме вашего собственного уверения в способности занять место, какого домогаетесь? – спросил сановник.

– Об этом уж вы потрудитесь судить сами, – сказал Таррион.

И он начал, пользуясь своей хорошей памятью, приводить наиболее важные заметки из бумаг – медленно, одну за другой, как человек, капающий в стакан успокоительные капли. Когда он дошёл до неотложного приказа – а приказание строгое – сановник смутился. Таррион заключил:

– И позволю себе заметить, что человеку обладание специальными знаниями подобного рода может служить для получения места хотя бы в министерстве иностранных дел не меньшей рекомендацией, чем родство, например, с женой одного из видных офицеров.

Это было уже не в бровь, а прямо в глаз, потому что сановник очень хорошо знал, на каком основании было дано одно из последних мест в департаменте иностранных дел.

– Постараюсь что-нибудь сделать для вас, – сказал «сильный человек».

– Премного благодарен, – ответил Таррион.

После этого он откланялся, а сановник стал раздумывать, как бы уравновесить назначение родственника жены офицера.

Наступил промежуток в одиннадцать дней, в течение которых метались громы и молнии и летели телеграммы во все концы. Место досталось Тарриону не особенно важное, с содержанием в 500 или 700 рупий в месяц, но вице-король считал, что следует поддерживать принцип дипломатической тайны, и поэтому можно было вполне надеяться, что человек, владеющий такими точными сведениями, скоро получит повышение. И Таррион был переведён, хотя и были кое-какие подозрения на его счёт, несмотря на его уверения, что он обязан своими сведениями исключительно личным, особенным талантам.

Теперь многое в этой истории, включая дальнейшую судьбу затерявшегося пакета, читатель может дополнить сам, потому что есть причина, почему все не может быть написано. Если вы незнакомы с делами в «высших сферах», то не сумеете заполнить пробелы и скажете, что это невозможно.

При представлении Тарриона вице-королю последний сказал:

– Так это тот самый молодой человек, который штурмом взял позицию в индийском правительстве? Помните, сэр, что это дважды не делается.

По-видимому, он знал кое-что.

Таррион, увидев своё назначение в газетах, сказал:

– Будь м-с Хауксби на два года моложе и будь я её мужем, я был бы через пятнадцать лет вице-королём Индии.

М-с же Хауксби сказала, когда Таррион благодарил её, чуть не со слезами на глазах:

– Ведь я вам говорила, что помогу. – А про себя подумала: «Какие же дураки эти мужчины».

Истребитель микробов

Общее правило гласит, что не следует вмешиваться в государственные дела в стране, где люди получают высокое жалование за то, что занимаются ими вместо вас.

Этот рассказ служит исключением, которому можно найти объяснение.

Как известно, каждые пять лет мы ожидаем нового вице-короля, а каждый вице-король в числе всякого прочего багажа привозит и личного секретаря.

Жил-был вице-король, который привёз с собой очень беспокойного секретаря, жёсткого человека с очень мягкими манерами и смертельной охотой к работе. Этого секретаря звали Уондер, Джон Уондер. У вице-короля не было имени, а только целый ряд званий, графств и две трети азбуки за ними. Он конфиденциально говорил, что считает себя позолоченной головой золотой администрации, и наблюдал исподтишка, несколько забавляясь, как Уондер пытался забрать в свои руки дела, которые совсем не касались его провинции.

– Если мы все будем херувимами, – сказал однажды его светлость, – и мой приятель Уондер станет во главе заговора, чтобы выщипать перья из крыльев архангела Гавриила и украсть ключи святого Петра, тогда я донесу на него.

Хотя вице-король не делал ничего, чтобы умирить пыл своего секретаря, однако другие говорили про него неприятные вещи. Может быть, начали говорить члены совета, но, как-никак, скоро мнение всей Симлы сходилось на том, что во всем управлении всюду слишком много Уондера и слишком мало вице-короля. У Уондера только и было на языке, что «его сиятельство». Его сиятельство – то, его сиятельство – это, «по мнению его сиятельства» и т. д. Вице-король улыбался, но не говорил ничего.

В этот год приехал в Симлу один из тех скучных людей, у которых в голове одна только мысль. Эти люди двигают вещи на свете вперёд, но говорить с ними не всегда приятно. Звали этого человека Меллиш. Он жил пятнадцать лет на своей земле в Нижней Бенгалии и изучал холеру. Он считал, что холера распространяет зародыши, которые разносятся в сыром воздухе и прилипают к ветвям, как древесная вата.

– Зародыш можно обесплодить, – говорил он, – особенно окуриванием, изобретённым мною, Меллишем, темно-фиолетовым порошком. Результат пятнадцатилетней работы, сэр!

Изобретатели все похожи друг на друга. Они говорят громко, особенно о «заговорах монополистов», ударяют при этом по столу кулаком и всегда имеют при себе образцы своих изобретений.

Меллиш уверял, что в Симле существует медицинский «кружок», во главе которого стоит медицинский инспектор, состоящий, очевидно, в заговоре со всеми докторами всех госпиталей всей Европы. Уж не помню, как он доказывал это, но говорил что-то о том, как бы «пробраться в холмы», а добивался Меллиш свидетельства от самого вице-короля, «представителя нашей милостивейшей государыни, сэр!» И вот Меллиш отправился в Симлу с сорока восьмью фунтами «выкуривательного» порошка в чемодане, чтобы добиться аудиенции у вице-короля и показать ему все преимущества своего изобретения.

Однако легче увидеть вице-короля, чем разговаривать с ним, разве только вы окажетесь такой важной особой, как другой Меллише, из Мадраса. Этот другой Меллише получал шесть тысяч рупий и был так знатен, что его дочери никогда не выходили замуж: они «вступали в союз». Он сам не получал жалования, а только известные возмещения, и путешествия его по стране назывались поездками для наблюдения.

Его обязанностью было шевелить народ в Мадрасе большим шестом, как шевелят линей в пруду, причём народ должен был бросать свои спокойные привычки и с изумлением восклицать: «Вот это прогресс и просвещение. Ну, разве не великолепно?!» После этого ставили Меллише статуи и подносили венки, надеясь поскорее избавиться от него.

Меллише приехал в Симлу посоветоваться с вице-королём. Это было одним из побочных источников его доходов.

Вице-король не знал о мадрасском Меллише ничего, кроме того, что он был одним из божков среднего сорта, существование которых, по-видимому, необходимо для душевного спокойствия в этом раю буржуазии, и что, по всей вероятности, все общественные учреждения в Мадрасе вызваны к жизни, основаны и снабжены средствами к существованию им. Это доказывает, что его сиятельство хотя и смутно, но все же знал о значении человека с шестью тысячами рупий.

Полное имя бенгальского Меллиша было – Э. Меллиш, а мадрасского Меллише – Э. С. Меллише. Оба остановились в одной и той же гостинице, и судьбе, заботящейся об Индийской империи, угодно было, чтобы произошла путаница, чтобы Уондер выпустил «е» в конце фамилии богача, а курьер вице-короля передал записку, как было написано:

Меллишу – изобретателю выкуривателя.

«Дорогой мистер Меллиш! Не найдёте ли возможным, отказавшись от других приглашений, позавтракать с нами завтра? Его сиятельство может уделить вам час в это время».

Изобретатель чуть не расплакался от восторга и гордости и в условленный час явился в Петергоф с большим пакетом своего порошка в кармане. Ему повезло, и он намеревался использовать удачу.

Меллише мадрасский обставлял свои посещения с такой торжественностью, что Уондер решил устроить частный завтрак, чтобы не было ни адъютанта, ни его самого, Уондера, никого, кроме вице-короля, хотя тот и заявлял жалобно, что боится остаться наедине с таким необузданным деспотом, как великий Меллише мадрасский.

Однако гость не оказался в тягость вице-королю. Напротив, он его позабавил. Меллишу бенгальскому хотелось как можно скорее добраться до своего порошка, и он говорил обо всем, что взбрédёт ему в голову, пока его сиятельство не пригласил его выкурить сигару. Вице-король был доволен Меллишем, что он не торгашествовал.

Как только задымились сигары, Меллиш смело приступил к делу: он начал с теоретических взглядов на холеру, припоминая все пятнадцать лет своей научной работы, махинации докторского кружка в Симле и восхваляя действие своего выкуривателя. А вице-король слушал его, полузакрыв глаза, и думал: «Очевидно, это не тот тигр, но все же курьёзное животное».

У Меллиша от возбуждения волосы поднялись на голове дыбом, он стал заикаться. Он начал шарить в карманах, и, прежде чем вице-король мог понять, что готовится, изобретатель высыпал целый мешочек своего порошка в большую серебряную пепельницу.

– Посудите сами, сэр, – сказал Меллиш. – Ваше сиятельство должны убедиться сами. Честное слово, средство чудесное!

Он сунул зажжённый конец сигары в порошок, и тот задымился, как вулкан, испуская клубы тяжёлого жирного жёлтого дыма. В несколько минут комната наполнилась отвратительным, резким запахом, дымом, от которого перехватывало дыхание. Порошок шипел и свистел, от него летели синие и зеленые искры, а дым все поднимался, так что нельзя было ни открыть глаза, ни перевести дух. Но Меллиш уже привык к этому.

– Стронций! – кричал он. – Барий, костяная мука и так далее! Тысячи кубических футов на кубический дюйм порошка. Ни один зародыш не выживет, ни один, ваше сиятельство!

Но его сиятельство уже бежал и закатывался кашлем у лестницы, между тем как весь Петергоф гудел, как улей. Красные уланы спешили со всех сторон; вбежал главный курьер, говоривший по-английски, прибежали жезлоносцы, с лестницы бежали дамы, крича: «пожар!» Дым наполнил весь дом и выходил в окна, стлался по верандам и клубами расходился по садам. Никто не мог войти в комнату, где Меллиш продолжал восхвалять чудодейственный порошок, пока тот не сгорел.

Наконец, адъютант, искавший вице-короля, вбежал в комнату, несмотря на клубы наполнявшего её дыма, и вызвал Меллиша в приёмную. Вице-король еле держался на ногах от смеха и только слабо махал руками на Меллиша, который подступал к нему со свежим пакетом порошка в руках.

– Изумительно! – захлёбывался его сиятельство. – Никакому зародышу не выжить! Это я могу клятвенно подтвердить. Успех поразительный.

Он смеялся до слез, когда вошёл Уондер, только что встретивший Меллише в аллее. Секретарь был возмущён представившейся ему сценой, но вице-король был в восторге, так как знал, что Уондер после этого уйдёт. Меллиш, изобретатель, был тоже доволен, потому что ему удалось сокрушить «медицинский кружок».

Редко кто мог бы рассказать о происшествии так, как это делал его сиятельство, когда он бывал в ударе. Его рассказ о приятеле с порошком моего доброго Уондера обошёл всю Симлу, и ехидные знакомые досаждали Уондеру своими шутками по этому поводу.

Наконец, Уондеру показалось, что его сиятельство рассказывает историю слишком часто. Дело было на пикнике сипаев. Уондер сидел как раз позади вице-короля.

– И право, у меня мелькнула на одно мгновение мысль, что мой друг Уондер подослал ко мне убийцу, чтобы очистить себе дорогу к трону, – рассказывал его сиятельство.

Все засмеялись, но в голосе вице-короля звучали нотки, которые Уондер понял. Он почувствовал, что его здоровье ухудшается, и вице-король, приняв его отставку, снабдил его великолепным аттестатом, которым он мог воспользоваться у себя на родине.

– Я один виноват, – говорил его сиятельство впоследствии, подмигивая, – моя несобранность должна была не нравиться такому аккуратному человеку.

Арест поручика Голайтли

Если поручик Голайтли мог чем-нибудь гордиться перед всеми, так это тем, что в нем «сразу был виден офицер и джентльмен».

Он говорил, что одевается так тщательно ради чести полка, но те, кто знал его ближе, утверждали, что он делает это из личного тщеславия. Вообще дурного в Голайтли не было ничего – ни унции. Встречая лошадь, он сразу узнавал, что это такое, и умел делать ещё кое-что, кроме наливания вин в стаканы. Поручик хорошо играл на бильярде и мастерски – в вист. Все любили его, и никому не приходило в голову, что его можно в один прекрасный день увидеть как дезертира, в ручных кандалах на одной станционной платформе. Но именно такая прискорбная вещь случилась.

Он возвращался верхом из Дальхоузи в конце своего отпуска, который продлил, насколько было возможно, и теперь очень спешил.

В Дальхоузи было уже тепло, и, зная, чего можно ждать внизу, он оделся в новый костюм оливково-зеленого цвета, плотно облегавший его; ярко-синий галстук, белый воротничок и ослепительно белый шлем дополняли костюм. Поручик считал для себя почётным иметь щеголеватый вид даже во время путешествия верхом или на почтовых. Вид у него был молодецкий, и он так углубился в созерцание своей наружности, что даже забыл захватить с собой что-нибудь, кроме кое-какой мелочи. Все свои бумаги он тоже оставил в гостинице. Денщик его должен был уехать раньше и ждать его в Патанкоте с вещами. Это поручик называл «путешествием налегке». Он родился с организаторским талантом.

В двадцати двух милях от Дальхоузи полил дождь – не горный ливень, а настоящий продолжительный дождь, какие бывают во время муссонов. Голайтли встревожился и пожалел, что не захватил с собой зонта.

Пыль на дороге превратилась в грязь, а пони то и дело попадал в лужи. Гетры поручика все были забрызганы грязью. Но он бодрился и пытался думать, как приятна прохлада.

Следующий пони, на которого он пересел, не хотел сдвинуться с места и, пользуясь тем, что мокрые поводья скользили в руках Голайтли, сбросил его на повороте. Поручик погнался за пони, поймал его и живо вскочил ему на спину. Падение не улучшило состояния его платья или расположение духа, да кроме того, он потерял одну шпору. Приходилось довольствоваться оставшейся.

В продолжение этого перегона пони скакал и брыкался вволю, и, несмотря на дождь, Голайтли обливался потом. Ещё через полчаса мир скрылся из глаз поручика за сырым тягучим туманом. Дождь превратил его высокий просмолённый шлем в вонючее тесто, он облепил его голову, как полусгнивший гриб. Начала линять и зелёная подкладка.

Голайтли не сказал ничего, что бы стоило упоминать. Он сорвал и выжал, насколько мог, поля шлема, нависшие на глаза, и продолжал плестись дальше. Задний козырёк шлема ударял его по шее, боковые кости упирались в уши, но ремешок и зелёная подкладка держались, так что шлем не сваливался, а только болтался.

Наконец, смолистая масса и зелёная краска образовали тягучую массу, которая потекла по Голайтли потоками – по спине и груди, не разбирая дороги. Цвет хаки тоже начал линять-скверная была, линючая краска, – и костюм Голайтли окрасился в бурый цвет, местами с фиолетовыми пятнами, оранжевыми краями и ярко-красными полосами. Кое-где выступали совершенно белые пятна, что, очевидно, зависело от особенностей и свойств краски. Когда Голайтли взялся за платок, чтобы вытереть лицо, и зелёная краска подкладки, слившись с красной краской от ремня, потекла по шее, то эффект получился изумительный.

– Около Дхари дождь перестал, выглянуло вечернее солнце и слегка обсушило поручика. Оно также закрепило и краски. В трех милях от Патанкота последний пони упал от изнемо-

жения, и Голайтли был вынужден идти пешком. Он отправился разыскивать по городу своего слугу, не зная того, что его кхитмагар остановился по дороге и напился, а на другой день, явившись в город, будет уверять, что он растянул себе ногу.

Поручик нигде не мог найти своего денщика; грязь и глина засохли на его сапогах, и на всем теле он чувствовал пыль. Голубой галстук полинял не меньше хаки. Голайтли снял его вместе с воротником и бросил. Выбрав слуг вообще, поручик постарался достать себе содовой с ромом. Он заплатил восемь анна за питье и тут увидел, что у него осталось всего-навсего шесть анна в карманах или вообще в мире, при положении дел в настоящую минуту.

Он отправился к начальнику станции, чтобы попытаться выхлопотать билет первого класса до Кхасы, где стоял его полк. Кассир сказал что-то начальнику станции, начальник станции шепнул что-то телеграфисту, и все трое с любопытством взглянули на Голайтли. Они попросили его подождать полчаса, чтобы получить разрешение из Умритсара. Он стал ждать; пришли четыре констебля и расположились живописной группой вокруг него. Как раз в ту минуту, когда он намеревался попросить их удалиться, начальник станции сказал, что даст сахибу билет до Умритсара, если сахиб потрудится пройти с ним в контору.

Голайтли исполнил желание начальника, и тут первое, в чем ему пришлось убедиться, было то, что в каждую из его рук и ног вцепилось по констеблю, а начальник станции пытался накинуть ему на голову мешок.

Произошла схватка, и Голайтли рассёк себе лоб, ударившись об угол стола. С констеблями ему оказалось не под силу справиться, и они с помощью начальника станции связали его по рукам и ногам. Когда с него сняли мешок и поручик начал высказывать своё мнение, констебль заговорил:

– Наверное, это тот самый английский солдат, которого мы ищем. Послушайте, как ругается!

Тогда Голайтли спросил у начальника, что значат эти слова и все предыдущее. На это начальник станции ответил ему, что он «рядовой Джон Бинкль N-ского полка, 5 футов 9 дюймов, блондин, с серыми глазами и на вид неряшливый; на теле особых примет нет», бежавший две недели тому назад.

Голайтли начал было пространное объяснение, но чем больше он распространялся, тем меньше верил ему начальник станции. Он сказал, что никогда поручик не может иметь такого оборванного вида, как у Голайтли, и что ему приказано отправить задержанного в Умритсар под надлежащей охраной.

Поручик чувствовал себя угнетённым; ему было не по себе, а его выражения негодились бы для печати даже в смягчённой форме.

Четверо констеблей благополучно проводили его до Умритсара в «отдельном купе», и он все четыре часа пути поносил их всеми ругательствами, какие только находились в его лексиконе.

В Умритсаре его высадили на платформу и передали в руки капрала и двух солдат N-ского полка. Голайтли собрался с силами и пытался изложить все связно. Он не чувствовал себя свободным в ручных кандалах, с двумя констеблями за спиной и кровью из раны на лбу, запёкшейся на левой щеке. Капрал тоже не был расположен шутить. Голайтли не успел договорить, что «это все, молодцы, ошибка», как он крикнул ему: «Молчать!» И приказал следовать за ним. Поручик просил остановиться и выслушать его объяснения и, действительно, начал излагать все очень обстоятельно, но капрал оборвал его:

– Вы офицер! Вот именно такие, как вы, и позорят нас! Нечего сказать, хорош офицер! Я знаю ваш полк. Откуда вы теперь? Конечно, бродяжничали. Вы – позор для всего сословия.

Голайтли сдержался и опять принялся объяснять все с самого начала. После этого его из-под дождя отвели в станционный буфет, где посоветовали не валять дальше дурака. Его соби-

рались «отвести» в форт Говиндар, а «отвод» – это почти такая же унижительная процедура, как «лягушачий марш».

С Голайтли чуть не сделался припадок от ярости, холода, всей этой путаницы, кандалов и головной боли, вызванной раной на лбу. Он опять начал объяснять, как все произошло. Когда он кончил и у него даже в горле пересохло, один из солдат сказал:

– Видал я нищих, которые притворялись и слепыми, и калеками, и помешанными, ну а такого, чтобы он выдавал себя за офицера, не видал.

Солдаты не сердились на Голайтли; они даже восхищались им. В буфете, приказав подать себе пива, они угостили и своего арестанта за то, что он «страсть как хорошо ругался». Они просили его рассказать все о приключениях рядового Джона Бинкля, когда он бродил на свободе, и это окончательно взбесило поручика. Если бы он владел собой, он стал бы ждать, пока не придёт офицер, но он попытался бежать.

Спине приходится очень больно от прикосновения к ней приклада Мартини, а промоченное, сморщившееся хаки очень легко рвётся, когда вас схватят за воротник два дюжих солдата.

У Голайтли сильно кружилась голова, когда он поднялся на ноги с сорочкой, разорванной спереди и почти во всю длину на спине. Он покорился уже своей судьбе, но в эту минуту подошёл лагорский поезд, а в нем оказался один из майоров, знавший Голайтли.

Вот как майор рапортует об этом деле:

«В буфете второго класса слышалась какая-то возня. Я пошёл туда и увидел перед собой самого отъявленного бродягу, какого я когда-либо видел. Сапоги и шпоры его были все в грязи и пивных пятнах. На голове у него было что-то вроде грязновато-белой навозной кучи, спускавшейся лохмотьями на плечи, довольно-таки поцарапанные. Рубашка была разорвана почти пополам, и он просил сторожа прочесть имя на её подоле. Так как рубашка была завернута через голову, я не мог сначала рассмотреть его лицо, но по тому, как он ругался, оправляя свои лохмотья, заключил, что он должен быть одним из низших чинов. Когда же он повернулся ко мне и я смог рассмотреть лицо с раной над одним глазом, размалёванное зеленой краской и с лиловыми полосами вокруг шеи, то я узнал Голайтли. Он очень обрадовался мне и выразил надежду, что я не стану рассказывать всей этой истории в собрании. Я и не рассказывал, но вы, если желаете, можете, так как Голайтли уехал теперь домой».

Голайтли провёл большую часть этого лета, разыскивая капрала и двух солдат. Их судили военным судом за то, что они арестовали офицера и джентльмена. Они, конечно, выразили полное раскаяние в случившемся недоразумении, просили прощения, но потом все-таки рассказали другим обо всем в полковом буфете, а оттуда рассказ обошёл всю провинцию.

Приятель моего приятеля

Имеется много причин, по которым я должен вести этот рассказ в первом лице. Человек, которого я хочу передать на суд людской, – Трантер с Бомбейской стороны. Я хочу увидеть Трантера забаллотированным в клубе, разведённым с женой, выгнанным со службы и заточенным в тюрьму, пока не добьюсь от него письменного извинения. Я хочу предостеречь весь мир против Трантера с Бомбейской стороны.

Вам известна непринуждённость, с которой люди передают друг другу знакомых в Индии? Это очень удобно. Чтобы избавиться от надоевшего вам человека, стоит только написать рекомендательное письмо и посадить человека вместе с письмом в первый поезд. Превосходное средство, в особенности для приезжих. Если держать их все время на ходу, они не успевают говорить обидных вещей про «англо-индийское общество».

Раз как-то, в холодный сезон, я получил рекомендательное письмо от Трантера с Бомбейской стороны, извещавшего меня о прибытии некоего Дживона; причём он, как водится, добавлял, что все, что я сделаю для Дживона, я сделаю для него, Трантера. Всем известна точная форма такого рода посланий.

Два дня спустя объявился и сам Дживон с рекомендательным письмом, и я сделал для него все, что мог. Был он белобрыс, румян и очень англичанист. Впрочем, он не высказывал никаких взглядов относительно индийской администрации и не настаивал на охоте на тигров на Вокзальном бульваре, как это делают иные приезжие. Он также не звал нас «колонистами» и не одевался под этим предлогом во фланелевую рубашу и охотничью пару к обеду. Нет, он вёл себя весьма прилично и был очень признателен мне за малейшую услугу. Благодарность его достигла крайних пределов, когда я раздобыл ему приглашение на Афганский бал и представил его некой м-с Димс, даме, к которой я питал великое уважение и таковой же восторг и которая танцевала, как тень листочка при дуновении ветерка. Я очень дорожил расположением м-с Димс, и, зная я только, что меня ожидает, я сломал бы Дживону шею, прежде чем раздобыл ему это приглашение.

Но в том-то и дело, что я не знал, я не помешал ему пообедать в клубе в день бала. Сам я обедал дома. Первый знакомый, которого я встретил на балу, спросил меня, не видал ли я Дживона. «Нет! – говорю. – Он был в клубе. Разве его нет здесь?»

«Какое там нет? – говорит. – Здесь он, и даже очень. Пойдите-ка взгляните на него».

Отправился я искать Дживона. Нашёл я его сидящим на скамье и улыбающимся самому себе и своей программе. С меня довольно было одного взгляда! Надо же ему было именно в этот день начать длинный и располагающий к жажде вечер с неумеренной выпивки! Он сопел носом, глаза у него были красны, а сам он казался очень довольным всем окружающим. Я сотворил про себя молитву о том, чтобы вальс рассеял винные пары, и отправился заполнять свою карточку, чувствуя себя далеко не в своей тарелке. Но тут я увидел Дживона, шествовавшего по направлению к м-с Димс для первого танца, и понял, что не хватит всех вальсов программы, чтобы укрепить его колеблющиеся ноги. Эта парочка обернулась всего шесть раз. Я считал их. М-с Димс уронила руку Дживона и направилась ко мне.

Не стану тут повторять того, что сказала м-с Димс, ибо она была в великом гневе. Не передам вам и того, что сам отвечал ей, ибо я ничего ей не отвечал. Я только жалел, что не убил Дживона с самого начала и не был за то повешен. М-с Димс вычеркнула все танцы, которые я должен был танцевать с ней, и отошла от меня, а я только тогда вспомнил, что мне следовало ей поставить на вид, что она пожелала познакомиться с Дживоном, потому что он хорошо танцует, и объяснить, что я и не думал устраивать целого заговора с целью оскорбить её. Впрочем, я чувствовал, что спорить не к чему и что лучше будет попытаться помешать Дживону вогнать меня своими вальсами в дальнейшие осложнения. Однако его нигде не было видно,

и через каждые три танца я периодически отправлялся на поиски, что окончательно отравило мне всякое удовольствие.

Перед самым ужином я поймал Дживона у буфета, где он стоял, широко расставив ноги и разговаривая с очень полной и негодующей дамой. «Если та личность – ваш приятель, как я слышала, я советовала бы вам отвезти его домой, – заметила она, – ему не место в приличном обществе». Тогда я понял, что Дживон успел натворить невесть что, и попытался увлечь его прочь.

Но не тут-то было: не из таковских он, чтобы ехать домой! Не беспокойтесь, сам превосходно знает, что для него требуется, и не позволит помыкать собой какому-нибудь колониальному негровладельцу; нужды нет, что я тот самый друг, под чьим влиянием созрел его младенческий ум и который научил его бояться Бога и покупать бенаресский медный товар; и мы не раз ещё кутнём с ним напропалую; и никакая верблюдица в чёрном шёлковом платье не разубедит его, что нет ничего лучше для аппетита, чем бенедиктин. Тут... но он был моим гостем.

Я упрятал его в тихий уголок буфета и отправился на поиски опоры, на которую мог положиться. Один добрый и сострадательный субалтерн-офицер услышал о моем горе, – да благословит Господь этого офицера и сделает его главнокомандующим! Сам он не танцевал, и голова у него была как здоровенная балка, и заявил, что берётся присматривать за Дживоном до конца бала.

– Полагаю, вам безразлично, что я с ним сделаю? – спросил он.

– Ещё бы! – сказал я. – Можете убить негодяя, если хотите.

Но тот его не убил. Он рысью отправился в буфет, уселся рядом с Дживоном и стал пить с ним наперегонки. Удостоверившись, что они уютно устроились, я ретировался с лёгким сердцем.

Когда прозвучал «Ростбиф Старой Англии», я услышал о проделках Дживона между первым танцем и нашей встречей в буфете. Оказывается, что, будучи отвергнутым м-с Димс, он пробрался на хоры и предложил дирижировать оркестром или играть на любом инструменте, предоставив выбор дирижёру.

Когда тот отказал ему, Дживон сказал, что его не ценят, тогда как он жаждет сочувствия. Ввиду этого он проковылял вниз и просидел четыре танца с четырьмя барышнями и сделал предложение трём из них. Одна, между прочим, оказалась замужней женщиной. После этого он перекочевал в игорную комнату, упал ничком на ковёр перед камином и плакал, потому что попал в шулерский притон, а мамаша всегда предостерегала его от дурного общества. Он сделал ещё много кое-чего другого и поглотил около трех кварт разнообразных напитков. Не говоря уже о том, как возмутительно он отзывался обо мне!

Все женщины требовали, чтобы его выгнали, и все мужчины жаждали задать ему трёпку. Хуже всего было то, что все уверяли, будто виноват во всем я. Ну, скажите на милость, могли я ожидать, что этот невинный с виду, кудрявый юнец способен так осрамиться? Он, видите ли, объехал чуть ли не вокруг всего света, и подбор ругани был у него космополитический, хотя преобладали японские выражения, подобранные в низкопробной чайной в Хакодате. Похоже было на свист.

В то время как я выслушивал от одного человека за другим описание позорного поведения Дживона, причём все они требовали от меня его крови, меня не оставляла мысль, куда же он мог деваться? Я был вполне готов тут же принести его в жертву обществу.

Но Дживона не было видно, а далеко в уголке столовой сидел мой добрый, милый субалтерн-офицер, с немного раскрасневшимся лицом, и уплетал салат. Я подошёл к нему и спросил: «Где Дживон?» – «В гардеробной, – сказал он. – Пусть сохраняется там в целости, пока не разъедутся дамы. Оставьте моего пленника в покос». Я вовсе и не желал с ним связываться, а только заглянул в гардеробную и увидел, что моего гостя уложили спать на куче свёрнутых ковров, предварительно распустив ему воротнички и приложив мокрую тряпку ко лбу.

Весь остаток вечера я провёл в робких попытках объяснить суть дела м-с Димс и трём-четырёх другим дамам и обелить себя – я ведь почтённый член общества – от позорных обвинений своего гостя. Нет слов, чтобы выразить, как он оклеветал меня!

В промежутках между объяснениями я то и дело забегал в гардеробную проверить, не скончался ли Дживон от апоплексического удара. Мне вовсе не было желательно, чтобы он умер у меня на руках. Он ел мой хлеб-соль.

Наконец роковой бал закончился, мне не удалось вернуть себе расположения м-с Димс. Когда дамы разъехались и за ужином слышались требования песен, этот ангел во плоти, суб-алтерн-офицер, приказал слугам принести того сахиба, что лежит в гардеробной, и расчистил один конец стола. Во время приготовлений мы избрали из своей среды Карательный Совет, с доктором в качестве председателя.

Дживон прибыл на плечах четырех людей, положивших его на стол, как труп в анатомическом театре, между тем как доктор читал лекцию о зле невоздержания, а Дживон храпел. После этого мы принялись за работу.

Мы вымазали ему все лицо жжёной пробкой. Мы намазали ему волосы взбитыми сливками так, что они превратились в белый парик. Для того чтобы дать волосам просохнуть в сохранности, один артиллерист, знавший толк в этом деле, прилепил ему на лоб, теми же сливками, голубой бумажный колпак из хлопущки. Помните, это было возмездие – не пустые шутки. Мы сняли слюду с хлопущек и налепили ему голубой слюды на нос и жёлтой – на подбородок, зеленой и красной – на щеки, придерживая каждый клочок, пока он почти что прирос к коже.

Мы сделали ему брыджи из гофрированной бумаги с окорока, завязав спереди бант. Он кивал головой, как фарфоровый мандарин.

Мы облепили ему кисти рук слюдой, и вымазали ладони жжёной пробкой, и обвили руки узенькими рюшами с котлет, и связали обе руки вместе бечёвкой. Мы нафабрили ему усы рыбьим клеем и завернули их кверху. Он имел очень воинственный вид.

Мы перевернули его спиной кверху, пришили фалды фрака между лопатками и прикрепили к ним розетку из котлетного рюша. Мы перетащили красное сукно из бальной залы в буфет и запеленали в него Дживона. Всего было шестьдесят футов красного сукна, шириной шесть футов, и Дживон превратился в грузный толстый свёрток, из которого торчала наружу одна только его изумительная голова. В завершение всего мы связали излишек сукна пониже ног кокосовой верёвкой, туго, как только могли. Мы так были злы, что почти не смеялись.

Только мы успели закончить, как послышался грохот фургонов, увозивших стулья и прочее добро, которое жена генерала давала займы для бала. Мы и взгромоздили Дживона, под видом кипы ковров, на один из фургонов, и они укатили прочь.

Но всего необыкновеннее то, что с этой минуты я более не слышал о Дживоне. Он как в воду канул. В дом генерала вместе с коврами он не был доставлен. Он попросту погрузился в мрак истекающей ночи и был поглощён им. А и то может быть, что он умер и его выбросили в реку.

Но нужды нет, жив он или мёртв, я не раз задумывался о том, каким образом он отделался от красного сукна и сливок. И до сих пор ещё продолжаю недоумевать, согласится ли когда-либо м-с Димс возобновить со мной знакомство и удастся ли мне изгладить впечатление от тех гнусностей, которые Дживон распустил о моих нравах и обычаях между первым и девятым вальсами Афганского бала. Они липнут крепче всяких взбитых сливок.

Словом, подавайте мне Трантера с Бомбейской стороны, живым или мёртвым! Я предпочёл бы мёртвым.

Ресслей из министерства иностранных дел

Одним из многочисленных проклятий нашей жизни в Индии является недостаток атмосферы, в том смысле, в каком понимают её художники. Нет сколько-нибудь заметных полутонов. Люди выступают резко и грубо, и нечем их смягчить, и не с чем их сравнить. Они делают своё дело, и в конце концов проникаются мыслью, что нет ничего, кроме их дела, и нет ничего выше их дела, и что они-то и есть те самые винты, на которых вертится вся администрация. Приведу пример этого настроения. Один писец смешанной расы разлиновывал однажды бланки в платёжной кассе. Он сказал мне: «Знаете, что случилось бы, если бы я прибавил или убавил одну строчку на этой странице?» Затем, с видом заговорщика: «Это дезорганизовало бы все платежи казначейства во всем государстве! Подумайте только!»

Если бы не это заблуждение относительно чрезвычайной важности их личных занятий, полагаю, что все эти люди просто-напросто взяли бы и покончили с собой. Тем не менее их слабость очень надоедлива, в особенности когда слушатель сознаёт, что грешит точно тем же.

Даже министерство и то воображает, что поступает превосходно, когда предписывает переутомлённому чиновнику установить количество долгоносиков на пшеничных полях в округе в пять тысяч квадратных миль.

Был однажды в министерстве иностранных дел человек, достигший средних лет в ведомстве и способный, по словам непочтительных юнцов, повторить во сне «Трактаты» Эчисона, начиная с конца. Что он делал с накопленными им знаниями, известно было одному министру, а тот, разумеется, не стал бы разглашать этого. Имя этого человека было Ресслей, и в то время принято было говорить, что «Ресслей знает о Центральной Индии больше, чем кто бы то ни было на свете». Тот, кто так не говорил, обвинялся в недомыслии.

В наше время чаще требуются люди, способные разобраться в пограничных осложнениях, но в дни Ресслея много внимания уделялось центральным государствам Индии. Их звали «средоточиями» и «факторами» и всякими иными внушительными наименованиями.

И здесь-то особенно остро давало себя знать проклятие англо-индийской жизни. Когда Ресслей возвышал голос и заговаривал о таком-то порядке наследования такого-то престола, министерство иностранных дел хранило молчание, а начальники департаментов лишь повторяли последние два-три слова из фраз Ресслея, приговаривая «да, да» и воображая, что помогают империи бороться с серьёзными политическими затруднениями. В большинстве крупных учреждений всю работу исполняют два-три человека, в то время как остальные сидят по соседству и разговаривают, дожидаясь, чтобы начали сыпаться созревшие ордена.

Таким работником в «Фирме Иностранных Дел» был Ресслей, и, чтобы удержать его на высоте, когда подмечались признаки переутомления, начальство нянчилось с ним и твердило ему, что он выдающийся малый. Будучи человеком стойким, он не нуждался в лестии, но та, которую он получал, укрепляла его в убеждении, что нет существа более абсолютно и безусловно необходимого для непоколебимости Индии, чем Ресслей из министерства иностранных дел. Могли быть и другие хорошие люди, но известным, почитаемым и самым доверенным из всех был Ресслей из министерства иностранных дел. Наш тогдашний наместник превосходно умел «сгладить» своенравную особу и подбодрить приунывшего маленького человека и добивался таким образом того, что вся его упряжка шла нога в ногу. Он-то и внушил Ресслею то убеждение, о котором я упомянул выше, а даже и стойкие люди склонны закачаться от наместнической похвалы. Был даже случай... но это другая история.

Вся Индия знала фамилию и должность Ресслея – все это значилось в адрес-календаре Такера и Спинка, но кто он такой сам по себе, что он делает, в чем заключаются его личные заслуги – об этом знали едва ли пятьдесят человек. Все его время было поглощено работой, и ему некогда было заводить знакомства, разве только с умершими раджпутанскими вождями

с ахирскими пятнами на гербах. Из Ресслея вышел бы превосходный служащий департамента геральдики, если бы он не был бенгальским чиновником.

В один прекрасный день, в промежутке между часами занятий, с Ресслеем стряслась большая беда – захлестнула его, опрокинула и оставила задыхающимся и беспомощным, как если бы он был маленьким школьником. Без всякого повода, вопреки рассудку, в одно мгновение он влюбился в пустую, златокудрую девочку, носившуюся по бульвару Симлы на высоком мохнатом скакуне, с нахлобученной на глаза синей бархатной жокейской фуражкой. Имя её было Веннер – Тилли Веннер – и была она восхитительна. Она подцепила сердце Ресслея на галопе, и Ресслей решил, что не благо человеку жить одному, даже если его шкафы и ломаются от бумаг министерства иностранных дел.

Симла смеялась, потому что влюблённый Ресслей чуточку был смешон. Он делал все, что мог, чтобы девушка заинтересовалась им, то есть его работой, а она, как водится у женщин, делала все, что могла, чтобы казаться заинтересованной тем, что называла за его спиной «гаджами мистега Гесслея», так как очень мило картавила. Она ничего не понимала в них, но прикидывалась, будто понимает. Людям и до нашего времени приводилось жениться на основании такого рода заблуждений.

Однако Провидение пеклось о Ресслее. Он был чрезвычайно поражён умом мисс Веннер. Он был бы ещё более потрясён, если бы услышал её конфиденциальные отзывы о его посещениях. У него были своеобразные понятия об уходе за девушкой. Он считал, что человек должен сложить лучший труд своей жизни к ногам любимой девушки. Сдаётся мне, что Рескин где-то написал что-то в этом роде, но в обычной жизни несколько поцелуев скорее достигают цели и сберегают время.

Приблизительно через месяц после того, как он влюбился в мисс Веннер и вследствие того исполнял свои обязанности как попало, его впервые осенила мысль написать книгу о «Туземном управлении в Центральной Индии», мысль, преисполнившая его восторгом. В том виде, в каком он задумал её, это была крупная вещь – труд целой жизни – действительно прекрасный обзор интересного вопроса, которому предстояло быть написанным со всем специальным и трудолюбиво приобретённым знанием Ресслея из министерства иностранных дел, словом, дар, достойный императрицы.

Он сказал мисс Веннер, что возьмёт отпуск и надеется по возвращении привезти ей достойный её подарок. Дождётся ли она? Разумеется, дождётся. Ресслей получал тысячу семьсот рупий в месяц. Ради этого можно подождать и целый год. Мамаша поможет ей дождаться.

Итак, Ресслей взял отпуск на год и все имевшиеся под рукой документы – чуть ли не целый вагон – и отправился в Центральную Индию, поглощённый своей темой. Он начал свою книгу в той стране, которую намеревался описать. Избыток официальной переписки превратил его в ледяного стилиста, и он, должно быть, сам чувствовал, что его палитра нуждается в ярком свете местного колорита. Но любителям опасно играть с этой краской.

Великий Боже, как работал этот человек! Он ловил своих раджей, анализировал их, прослеживал их сквозь ночь времён и дальше, со всеми их королевами и наложницами. Он записывал и сверял даты, выводил тройные родословные, сравнивал, вёл заметки, сличал их, связывал, сортировал, вносил в списки и т. д. в течение десяти часов в сутки. Но потому что его озарил внезапный и новый свет любви, он обращал сухую материю истории и грязные отчёты злодеяний в нечто, над чем можно было плакать и смеяться. Вся его душа и сердце висели на кончике его пера и отсюда попадали в чернила. В течение двухсот тридцати суток он обладал сочувствием, проникновением, юмором и стилем, и книга его поистине была книгой. При нем имелись и обширные его специальные знания, но дар сочинителя, вплетённая в него человечность, поэзия и сила изложения были не чета каким угодно специальным знаниям. Однако едва ли он сам сознавал одухотворявший его тогда талант и, таким образом, не испытывал своего

счастья в полной мере. Он работал для Тилли Веннер, не для себя. Люди нередко исполняют лучшее своё творение впопыхах, ради кого-нибудь другого.

Кроме того, – хотя это не имеет ничего общего с рассказом – в Индии, где все знают друг друга, можно наблюдать, как женщины выдвигают из строя подчинённых им мужчин и заставляют их брать призы в одиночку. Хороший человек, раз он снялся с места, пойдёт и дальше, но заурядный человек, чуть только женщина перестанет интересоваться его успехами, как данью своей власти, возвращается обратно в батальон и больше не даёт знать о себе.

Ресслей привёз первый экземпляр своей книги в Симлу и преподнёс его мисс Веннер, краснея и заикаясь. Она попробовала почитать немножко. Привожу её отзыв *verbatim*:

– О, ваша книга? Там все об этих ужасных гаджах. Я ничего в ней не поняла.

Ресслей из министерства иностранных дел был раздавлен, уничтожен – я нимало не преувеличиваю – этой пустой девчонкой. Он еле нашёл силы проговорить: «Но... но ведь это моё *magnum opus*! Труд всей моей жизни». Мисс не знала, что значит *magnum opus*, но она знала, что капитан Керрингтон взял три приза на последних скачках. Ресслей не стал настаивать на том, чтобы она ждала его. На это у него хватило здравого смысла.

Затем наступила реакция после годового напряжения, и Ресслей возвратился к иностранным делам и своим «гаджам» компилирующей, зачисляющей, пишущей отчёты клячей, не стоящей и трехсот рупий в месяц. Он подчинился приговору мисс Веннер, из чего можно заключить, что его книжное вдохновение было чисто временным и не скреплённым с ним никакой внутренней связью. Тем не менее он не имел никакого права бросать в горный пруд пять ящиков, доставленных с большими расходами из Бомбея и содержавших лучшую книгу, когда-либо написанную по истории Индии.

Несколько лет спустя, когда он распродал свои пожитки перед уходом в отставку, я рылся на его книжных полках и наткнулся на единственный существующий экземпляр «Туземного управления в Центральной Индии», тот самый, в котором мисс Веннер ничего не поняла. Я читал эту книгу, сидя на сундуке, пока не угас дневной свет, и предложил ему назначить за неё его собственную цену. Он просмотрел несколько страниц через моё плечо и уныло проговорил, как бы про себя:

– Каким это образом довелось мне написать такую чертовски толковую штуку?

Затем, обращаясь ко мне:

– Возьмите её и оставьте у себя. Напишите одну из своих грошовых побасёнок о том, как она родилась на свет. Быть может – как знать? – это и было единственным её предназначением.

И зная, чем некогда был Ресслей из министерства иностранных дел, я нашёл, что это горчайшая ирония, на которую способен человек, говорящий о своём собственном труде.

Для отзыва

*Скажи мне, рассвело ль, иль ночь в твоей беседке?
О, ты, о ком томлюсь, что плачешь обо мне!
О, если ночь...*

Здесь он зацепился за верблюжонка, спавшего в сарае, в котором живут барышники и отборные мошенники Центральной Азии, и так как сам был очень пьян, а ночь – очень темна, то и не смог подняться на ноги без моей помощи. Таково было моё первое знакомство с Мак-Интошем Джеллалудином. Когда пьяный босяк поёт «Песнь Беседки», с ним стоит иметь дело. Он отделился от спины верблюда и несколько хрипло проговорил:

– Я... я... чуточку взвинчен, но стоит мне окунуться в Логгергэд, чтобы все как рукой сняло, а вы, кстати, скажите, говорили вы Саймондсу насчёт колен кобылы?

Дело в том, что Логгергэд находился за шесть тысяч мучительных миль от нашего местопребывания, вблизи Месопотамии, где нельзя ловить рыбу и браконьерство невозможно, а конюшни Чарли Саймондса – на полмили дальше, за загоном. Странно звучали для меня все эти старые имена в майскую ночь, среди лошадей, верблюдов султанского караван-сарая. Затем он как бы опомнился и в то же время протрезвел. Он прислонился к верблюду и указал мне на угол сарая, где была зажжена лампа.

– Я живу там, – сказал он, – и был бы чрезвычайно обязан, если бы вы были так добры проводить туда мои мятежные ноги, ибо я пьян свыше обыкновения... чрезвычайно... феноменально пьян. Только не в отношении головы. «Мой мозг восстаёт против...» Как там ещё? Но голова моя катается в навозной куче, должен бы я сказать, и обуздывает мои страдания.

Я помог ему пробраться между рядами стреноженных лошадей, и он опустился на край веранды, напротив туземных помещений.

– Благодарю, тысячу благодарностей! О, луна и маленькие-маленькие звезды! Подумать только, что человек может так позорно... Да и вино вдобавок гнусное. Овидий в изгнании не пивал худшего. Нет, лучше. Его было заморожено. Увы! У меня не было льда. Спокойной ночи. Я представил бы вас своей жене, будь я трезв или она цивилизована.

Из глубины тёмной комнаты вышла туземная женщина и принялась ругать его, ввиду чего я поспешил уйти. Это был интереснейший из бывших людей, каких только мне приходилось встречать, и со временем я подружился с ним. Он был рослым коренастым блондином, сильно расшатанным пьянством; на вид ему можно было дать пятьдесят лет, вместо тридцати пяти – настоящего его возраста. Раз человек начал опускаться в Индии и близкие не спохватились вовремя спровадить его на родину, он падает очень низко с респектабельной точки зрения. Когда же дело дойдёт до перемены религии, как это было с Мак-Интошем, значит, дело безнадежно.

В большинстве больших городов вы услышите от туземцев о двух-трех сахибах, обычно низкого происхождения, которые перешли в магометанство или буддизм и ведут соответственную жизнь. Но познакомиться с ними удаётся не часто. Как говаривал сам Мак-Интош: «Если я меняю религию для пользы своего желудка, это не причина, чтобы добиваться гласности и становиться жертвой миссионеров».

В начале нашего знакомства Мак-Интош предупредил меня:

– Помните одно. Я вовсе не являюсь объектом для вашей благотворительности. Мне не нужны ни ваши деньги, ни ваш обед, ни ваше поношенное платье. Я редкостное животное, именно пьяница, добывающий себе хлеб. Если хотите, могу курить с вами, так как базарный табак, признаться, мне не по вкусу, и буду брать займы те из ваших книг, которыми вы не слишком дорожите. Более чем вероятно, что они пойдут в обмен на бутылки чрезвычайно гнус-

ных местных напитков. За это вы можете пользоваться гостеприимством, доступным моему дому. Вот стойка, на которой можно сидеть вдвоём, и возможно, что время от времени на этом блюде будет появляться пища. Выпить, к сожалению, можно в этом учреждении во все часы дня и ночи; итак, добро пожаловать в моё убогое жилище.

Таким образом, я был допущен в дом Мак-Интоша, я с моим хорошим табаком. Но ничего более. К сожалению, днём нельзя посещать бывших людей в караван-сараях. Ваши приятели, покупающие здесь лошадей, могут понять это превратно. Ввиду этого мне приходилось бывать у Мак-Интоша в сумерки. На это он только рассмеялся со словами:

– Вы совершенно правы. В то время, когда я занимал в свете положение, несколько повыше вашего, я поступил бы точно так же. Великий Боже! Я был когда-то (можно было подумать, что он, по крайней мере, командовал полком), я был оксфордским студентом!

Этим объяснялось упоминание о конюшнях Чарли Саймондса.

– Вы же, – медленно продолжал Мак-Интош, – были лишены этого преимущества, зато, судя по внешним признакам, вы не представляетесь мне одержимым страстью к крепким напиткам. В общем вы, кажется, счастливейший из нас двоих. Но я не уверен в этом. Вы возмутительно невежественны – простите, что говорю в ту самую минуту, когда курю ваш превосходный табак, – вы возмутительно невежественны во многих отношениях.

Мы сидели рядом на краю его койки, так как стульев не было, глядя, как поили лошадей, в то время как туземная женщина готовила обед. Не очень мне нравился этот покровительственный тон со стороны бывшего человека, но в данное время я был его гостем, не важно, что все его имущество заключалось в очень рваной альпаковой куртке и паре панталон, сшитых из старой рогожи. Он вынул трубку изо рта и нравоучительно продолжал:

– Строго говоря, сомневаюсь, чтобы вы были счастливее из нас двоих. Не говорю о чрезвычайной ограниченности вашего классического образования, но о грубой вашей невежественности относительно ближайших объектов вашего внимания. Вот, например!..

Он указал на женщину, чистившую самовар у водопровода посреди караван-сарая. Она выплёскивала воду из крана маленькими размеренными толчками.

– Самовары можно чистить и так и этак. Если бы вы знали, почему она это делает именно так, вы поняли бы, что хотел сказать испанский монах, когда изрёк:

Я знаменую собой Троицу,
Когда пью апельсинную настойку с водой,
И обманываю Арианина в три глотка,
Меж тем как он все выпивает залпом, —

и много иного, ныне скрытого от ваших глаз. Однако миссис Мак-Интош приготовила обед. Давайте есть по обычаю народа этой страны, о которой, кстати сказать, вы ничего не знаете.

Туземная женщина опустила руку в блюдо вместе с нами. Это не годится. Жене следует дожидаться, чтобы поел муж. Мак-Интош Джеллалудин извинился, говоря:

– Я никак не мог отделаться от этого английского предрассудка, притом она меня любит. За что, я так и не мог никогда понять. Я сошёлся с ней в Джуллундуре три года тому назад, и она с тех пор не расставалась со мной. Думаю, что она добродетельна, и знаю, что она хорошо готовит.

При этом он потрепал женщину по голове, и та отозвалась тихим воркованьем. С виду она была далеко не привлекательна.

Мак-Интош так и не сказал мне, какое занимал положение до своего падения. В трезвые минуты это был образованный словесник и джентльмен, во хмелю первое свойство брало верх над вторым. Пил он обычно раз в неделю в течение двух дней. В этих случаях туземная

женщина ухаживала за ним, в то время как он бредил на всех языках, кроме отечественного. Однажды, впрочем, он начал декламировать «Атланту в Калидоне» и дошёл до конца, отбивая ритм стиха ножкой кровати. Но большая часть его пьяных разглагольствований бывала по-гречески или по-немецки. Мозг этого человека был подлинным мусорным ящиком, складом ненужных вещей. Раз как-то, когда хмель начинал проходить, он сказал мне, что я – единственное разумное существо в том Inferno, в которое он спустился, Вергилий среди теней, как он выразился, и что в уплату за табак он даст мне перед смертью материал для нового Inferno, которое вознесёт меня выше Данте. После этого он уснул на лошадиной попоне и проснулся совсем спокойным.

– Человек, – сказал он мне, – когда достигает крайней степени унижения, перестаёт чувствовать мелочи, которые были бы неприятны более возвышенному существу. Прошлой ночью душа моя витала среди богов, но нисколько не сомневаюсь, что моё скотское тело копошилось здесь в отбросах.

– Вы были мертвецки пьяны, если хотите знать, – подтвердил я.

– Я был пьян, омерзительно пьян. Я – сын человека, с которым вы не имеете ничего общего, я – некогда студент университета, буфета которого вы никогда и не видели, я был гнуснейшим образом пьян. Но посмотрите, как мало это меня задевает. Для меня это – ничто, менее чем ничто: ибо я даже не испытываю головной боли, долженствующей быть моим уделом. Между тем на более высокой ступени существования как ужасно было бы возмездие, как горько раскаяние! Поверьте мне, друг мой с недостаточным образованием, высшее равняется низшему, если только брать крайность той и другой степени.

Он повернулся на одеяле, подпер голову кулаками и продолжал:

– Клянусь сгубленной мною душой и убитой мною совестью, говорю вам, что я не способен чувствовать! Я подобен богам, знающим добро и зло, но не тронутым ни тем, ни другим. Ну не завидно ли это?

Когда человек дошёл до того, что уже не чувствует похмелья, состояние его поистине безнадежно. Я посмотрел на Мак-Интоша, с его синими губами и спадавшими на глаза космами, и отвечал, что считаю его бесчувственность недостаточным поводом для зависти.

– Ради всего святого, не говорите этого! Утверждаю, что это – подлинное благо, вполне достойное зависти. Подумайте о моих утешениях!

– Неужели у вас их так много, Мак-Интош?

– Конечно, ваши притязания на сарказм, это специальное орудие культурных людей, нельзя не признать нелепыми. Во-первых, мои познания, моё классическое и литературное образование, быть может, и затуманенное неумеренным пьянством (и это, кстати, напоминает мне, что, перед тем как душа моя воспарила вчера вечером к богам, я продал пикерингское издание Горация, которое вы были так добры дать мне для прочтения. Оно поступило к старьевщику Дитта Муллю. Он дал за него десять анна, и можно его выкупить за одну рупию), но все же это образование неизмеримо выше вашего. Во-вторых, прочная привязанность миссис Мак-Интош, наилучшей из жён. В-третьих, памятник, более прочный, чем бронза, построенный мной за семь лет моего позора.

Здесь он остановился и пополз в противоположный конец комнаты за водой. Он весь тряся, его сильно тошнило.

После этого он несколько раз ещё упоминал о своём «сокровище» – каком-то очень ценном своём имуществе, но я приписал это пьяному бреду. Беден он был и горд неимоверно. Обращение его не отличалось приятностью, но он достаточно знал о туземцах, с которыми провёл семь лет своей жизни, чтобы стоило вести с ним знакомство. Он искренне смеялся над Стриклендом за его невежество – «невежественный Запад и Восток», как он говорил. Во-первых, он гордился тем, что был выдающимся членом Оксфордского университета, что, может быть, и правда, – я недостаточно образован, чтобы судить о том – а во-вторых, тем, что «держит

руку на пульсе туземной жизни», и это – подлинный факт. В качестве оксфордского студента я находил его бестактным: он вечно кичился своим образованием. Но в роли магометанского факира – как Мак-Интош Джеллалудин – он всецело отвечал моим требованиям. Он выкурил несколько фунтов моего табаку и преподал мне несколько унций ценных познаний, но никогда не пожелал принять от меня ничего существенного, даже когда настали холода, стиснувшие жалкую худую грудь под жалкой худой альпаковой курткой. Он очень рассердился и объявил, что я его оскорбляю и что он вовсе не намерен ложиться в больницу. Он жил, как скотина, зато и умрёт рационально, как человек.

Собственно говоря, он умер от воспаления лёгких, и в вечер своей смерти прислал засаленную записку, в которой просил меня прийти помочь ему умереть.

Туземная женщина плакала у его постели. Мак-Интош лежал, закутавшись в бумажную простыню, но у него не хватило сил протестовать, когда я накинул на него шубу.

Он был преисполнен энергии, и глаза его сверкали. После того как приведённый мной старик доктор ушёл в негодовании от посыпавшегося на него сквернословия, он продолжал проклинать меня в течение нескольких минут и, наконец, успокоился.

Тут он велел жене достать «книгу» из отверстия в стене. Она принесла большой пакет, завернутый в подол юбки и содержащий пожелтевшие листы разнородной почтовой бумаги, пронумерованные и покрытые мелким убористым почерком. Мак-Интош запустил руку в этот хлам, любовно перебирая его.

– Вот мой труд, – сказал он. – Книга Мак-Интоша Джеллалудина, в которой сказано, что он видел и как жил и что приключилось с ним и другими; она же и история жизни и грехов и смерти Матери Матюрин. То, что представляет собой книга мирзы Мурада-Али-Бега по сравнению с другими книгами о жизни туземцев, – то же представляет собой моя книга по отношению к книге мирзы Мурада-Али-Бега!

Сильно было сказано, с чем согласится всякий, кто знает книгу мирзы Мурада-Али-Бега. Бумаги не представлялись мне особенно ценными, но Мак-Интош обращался с ними, как если бы это были денежные знаки. Затем он медленно проговорил:

– Несмотря на многочисленные слабые стороны вашего образования, вы были добры ко мне. Я упомяну о вашем табаке, когда предстану перед богами. Ваша доброта заслуживает большой благодарности. Но мне ненавистно чувствовать себя должником. Вот почему ныне завещаю вам памятник прочнейшей бронзы – мою единственную книгу – неотделанную и несовершенную местами, но – ах! – местами столь прекрасную! Не знаю, сумеете ли вы понять её. Это дар более почётный, нежели... Ба! Куда это забрели мои мысли! Вы изувечите её ужаснейшим образом. Вы выбросите те перлы, которые зовёте латинскими цитатами, филистер вы этакий, и искромсаете стиль, чтобы обратить его в собственный отрывистый жаргон, но всего вам не уничтожить. Я завещаю её вам. Этель... опять эти мысли!.. Миссис Мак-Интош, будь свидетельницей, что я даю сахибу все эти бумаги. Тебе они ни к чему, сердце моего сердца. Я завещаю вам, – проговорил он, обращаясь ко мне, – не дать книге умереть в настоящем её виде. Она – ваша, без всяких ограничений, история Мак-Интоша Джеллалудина, которая есть история не Мак-Интоша Джеллалудина, а несравненно более крупного человека и величайшей женщины. Слушайте же! Я ни пьян, ни помешан! Эта книга сделает вас знаменитым.

Я сказал: «Благодарю вас», в то время как туземная женщина вложила свёрток в мои руки.

– Мой единственный младенец! – сказал Мак-Интош с улыбкой. Силы его быстро убывали, но он продолжал говорить, пока мог перевести дух. Я остался дожидаться конца, зная, что в шести случаях из десяти умирающий вспоминает о матери. Он повернулся на бок и сказал:

– Рассказывайте, каким образом получили её. Никто вам не поверит, но, по крайней мере, имя моё не умрёт. Вы обойдётесь с ней беспощадно, я это знаю. Частью неизбежно придётся

пожертвовать: люди глупцы и ханжи. Когда-то я сам был их рабом. Но режьте осторожно – как можно осторожнее. Это – великий труд, и я уплатил за него семью годами адских мук.

Голос его слабел, после десяти – двенадцати вздохов он начал бормотать какую-то молитву по-гречески. Туземная женщина горько плакала. Наконец, он приподнялся на кровати и проговорил столь же громко, сколь и медленно: «Не виновен, Господи!..»

Затем откинулся назад и оставался в оцепенении до самой смерти. Туземная женщина убежала к лошадям в сарай и кричала, и била себя в грудь, ибо она любила его.

Быть может, последние его слова выразили, что пережил когда-то Мак-Интош, но, кроме старых бумаг, завёрнутых в кусок материи, не было ничего в комнате, что могло бы объяснить, чем и кем он был раньше.

Бумаги оказались в безнадежном беспорядке.

Стрикленд помог мне разобраться в них и объявил, что автор либо отчаянный лгун, либо выдающийся человек. Он более склонён к первому толкованию. В один прекрасный день вы, быть может, получите возможность лично судить о том. Свёрток потребовал больших исправлений и был полон греческой чепухи в начале глав, которую пришлось выбросить целиком. Если книге суждено быть напечатанной, кто-нибудь из читателей может вспомнить об этом рассказе, опубликованном как гарантия, в доказательство, что не я, а Мак-Интош Джеллалудин написал книгу Матери Матюрин.

Я вовсе не желаю, чтобы история «Одежды Гиганта» оправдалась в моем случае.

Молодой задор

Во дни своей ранней молодости Дик Хэт был очарован одной девицей. Очаровательница не имела ни роду, ни племени, ни службы, ни определённых занятий, словом, ровно ничего, не отличалась даже красотой.

Случилось это с Диком за месяц до его переселения в Индию и пять дней спустя после двадцать первой годовщины его рождения. Девице было девятнадцать лет, т. е. по всем женским данным она была на одну треть старше жениха, но вдвое глупее его.

За исключением разве падения с лошади, нет ничего легче жениться в регистратуре. Церемония эта требует очень немного времени и стоит всего каких-нибудь пятьдесят шиллингов, а отправляться туда – все равно, что пойти в закладную контору. Запишет регистратор имя, звание, место жительства, род занятий брачующихся, нажмёт пресс-бюваром по записи и, зажав перо в зубах, пробурчит: «Ну, теперь вы – муж и жена». На все это требуется не более десяти минут. Вы берете жену под руку и выходите на улицу с таким чувством, словно совершили что-то не совсем законное.

Однако и эта чересчур уж простая церемония способна связать человека так же крепко, как торжественная клятва перед алтарём, сопровождаемая хихиканьем подружек невесты сзади и оглушительным хором певчих спереди.

Таким связанным со всеми вытекающими из этого обязательствами почувствовал себя и Дик Хэт. Он совершенно серьёзно и добросовестно хотел отнестись к своим новым обязанностям мужа и будущего отца. В этом поддерживала его надежда на должность в Индии, которую выхлопотал ему один добрый знакомый. Эта должность давала содержание, казавшееся вполне достаточным на первый взгляд.

Целый год новобрачная должна была оставаться соломенной вдовой, а по истечении этого срока муж предполагал выписать её к себе, после чего их жизнь должна была превратиться в волшебный сон. Так, по крайней мере, казалось новобрачным, когда они отправлялись в Грэвсэнд, чтобы провести медовый месяц.

Четыре недели промчались как один день. Потом Дик на всех парах помчался в Индию, а его неутешная жёнушка осталась оплакивать временную разлуку в меблированной комнате с пансионом, ценой в тридцать шиллингов в неделю.

Но страна, в которую попал Дик, оказалась слишком суровой по отношению к двадцатилетним юношам, и жизнь в ней была не дешева. Жалованье, казавшееся вполне достаточным на расстоянии в шесть тысяч миль, вблизи значительно уменьшилось. Когда Дик отправил одну шестую часть жёнушке, у него образовался остаток в сто тридцать пять рупий, которые нужно было растянуть на целые двенадцать месяцев, что оказалось крайне трудным. Мистрис Хэт осталась с двадцатью фунтами стерлингов полученных мужем подъёмных; этой суммы не могло хватить надолго молодой неопытной женщине. Дик поневоле должен был поделиться с ней своим, в сущности, очень скудным жалованьем. Через год предстояло послать ей ещё 700 рупий на переезд к нему в Индию. Он видел, что это вовсе не будет так легко, как рисовалось ему на родине. Поэтому, кроме должности в конторе торгового дома, которую он занимал, нужно было поискать ещё побочный заработок, чтобы хоть мало-мальски свести концы с концами. Быть может, через некоторое время ему удастся получить и такой заработок, который позволит откладывать понемножку сумму, необходимую на переезд жены. Пока же он в свободные минуты брался за все, что попадало под руку и обещало хоть маленькую прибыль к его скудным средствам.

Вначале Дик лишь временами и не слишком сильно чувствовал, что позволил опутать себя тяжёлыми цепями. Это бывало тогда, когда его молодость соблазнялась различными удовольствиями и сладостями жизни, которых он не мог удовлетворить из-за отсутствия хорошо

набитого кошелька. Но по мере того, как время шло все вперёд и вперёд, змея досады, разочарования и горя стала преследовать его уже безостановочно.

Началось с писем, вкривь и вкось написанных на семи-восьми листах и слёзно свидетельствовавших о том, как тоскует по мужу бедная жёнушка и как страстно она мечтает о будущем рае их совместного жительства в Индии. Среди чтения этих трогательных посланий вдруг врывался в жалкую конурку Дика сосед и, захлёбываясь от восторга, звал его посмотреть пони, которого он, сосед, привёл на продажу и который должен очень понравиться уважаемому мистеру Хэту. Дик говорил, что ему вовсе не до пони, и просил оставить его в покое. Тогда сосед приставал с каким-нибудь новым соблазном. В конце концов он довёл Дика до того, что бедняга перебрался в ещё более скромную конурку, объяснив эту перемену тем, что его новое место жительства ближе к конторе.

Когда Дик устроился в новом жилище, все его хозяйство состояло из зеленой шерстяной засаленной скатерти, которой он покрывал еле державшийся на ногах стол. Из одного стула, плохонькой постели, одной фотографической карточки жены, толстого стакана и фильтра для воды. Столовался он за тридцать семь рупий в месяц. У него не было «пунки», потому что «пунка» стоила пятнадцать рупий в месяц. Спал он на кровле той конторы, в которой занимался, и клал под подушку письма жены. Иногда кое-кто из знакомых приглашал его к себе обедать. Тогда он мог наслаждаться и «пункою», и напитком со льдом. Но это случалось редко, потому что люди брезговали знакомством с юношей, обладавшим инстинктами шотландского фабриканта сальных свечей, но жившим так плохо. Участвовать в подписках на устройство каких-либо развлечений Дик также не мог, поэтому единственным его удовольствием было перелистывать конторские книги и учить наизусть правила для выдачи ссуд под верное обеспечение.

Ежемесячно он переводил жене все те маленькие сбережения, которые ему удавалось вырвать из своего заработка. Посылать жене приходилось все больше и больше, по причине, которая скоро выяснится. На Дика вдруг напал тот непреодолимый и неотступный страх, которым страдают все женатые люди его положения. На пенсию он не мог рассчитывать. Что, если он скоропостижно умрёт и оставит жену совершенно необеспеченной? Эта мысль преследовала и мучила его до бурного сердцебиения, и он был уверен, что вот-вот умрёт от разрыва сердца.

Такие заботы и терзания не по силам юношам; они могут быть уделом лишь зрелых мужей. Но Дик был именно юношей, бедным, изнывающим от забот, лишённым возможности завести себе даже «пунку», как у других юношей; тиски этих забот сжимали его. Он готов был сойти с ума, и ему некому было поведать о своём горе. Известный «нажим» одинаково необходим как бильярдному шару, так и человеку, в особенности молодому. Дик постоянно страшно нуждался в деньгах и напрягал все свои силы, как выючное животное, чтобы побольше заработать. Люди, которым он служил, знали, что юноши могут довольно сносно существовать и на ту сумму, которую вообще принято платить им в Индии, где увеличение содержания производится лишь с увеличением лет, а не по заслугам. И если юноша находил необходимым брать ещё постороннюю работу и таким образом работать за двоих, то это было его дело, а их дело запрещало им платить ему вдвое за труд, который он выполнял лично для них, пока он не достиг ещё определённых лет, когда полагается прибавка жалованья. Дик надрывался и в положенные часы службы, и в свободные от службы и зарабатывал довольно хорошо, однако не столько, сколько требовалось при наличии жены и в ожидании ребёнка да ещё окончания годового срока, после которого нужно иметь лишних семьсот рупий на переезд жены. Издали все это казалось таким лёгким, но теперь, лицом к лицу становилось уже грозным. И это с каждым днём становилось чувствительнее.

Сколько ни посылал жене денег бедный Дик, все было недостаточно. Письма жены изменили свой прежний нежный и грустный тон на другой, упрекающий и сварливый. Почему Дик не хочет выписать к себе жену и ребёнка? Ведь он получает большое, очень большое жалованье

и он нехорошо делает, что тратит все на собственное удовольствие. Неужели Дик не пришлёт побольше денег в следующий раз? Для ребёнка надо купить то-то и то-то: следовал огромный список всего «крайне необходимого» для ребёнка.

Любя жену и только что родившегося, хотя и совсем ему незнакомого сыночка, бедный Дик старался увеличить сумму следующего денежного перевода на родину и писал полумальчишеские, полумужские письма, в которых объяснял, что жизнь совсем не так весела, как им, мужу и жене, думалось, и спрашивал, не может ли милая жёнушка обождать ещё немного с переездом к нему? Но милая жёнушка дольше ожидать не хотела. В её письмах звучали новые интонации, которых Дик никак не мог понять по своей молодости и неопытности в жизни, с которой он только что начал знакомиться.

В один прекрасный день Дик узнал от одного из своих сослуживцев, что женитьба не только уничтожит все его шансы на повышение жалованья в будущем, но может послужить причиной того, что он совсем лишится работы. Дик скрывал, что он женат, потому что в Индии не принимают на службу молодых женатых людей. Он переводил деньги жене не через свою контору, а через чужую, чтобы не выдать раньше времени тайну своей женитьбы. Сослуживец проработал уже несколько лет и женился лишь недавно, «сделал эту непростительную глупость», как он сам выражался, и в откровенной беседе с Диком высказал ему, чем угрожает эта глупость. Таким образом Дик нечаянно узнал, что грозит ему самому, когда откроется его тайна. Это был новый удар.

Через несколько дней Дик получил от жены извещение о смерти ребёнка и горькие упреки в том, что ребёнок бы не умер, если бы мать могла предоставить ему то-то и то-то, стоившее денег, или если бы и она и ребёнок находились у Дика. Этот удар был тяжелее всех остальных. Но, не будучи официально женатым и потому не имея права быть отцом, Дик не мог явно предаваться своему горю, а должен был таить и его.

Одному Богу известно, как дотянул последние месяцы года наш злополучный Дик, какие надежды поддерживали его в непосильном труде. Работал он по-прежнему с неослабевающим усердием, жил по-прежнему кое-как и впроголодь, тратил лишнее на себя в том лишь случае, когда было необходимо переменить фильтр. Мечта о том, чтобы скопить семьсот рупий на переезд жены, оставалась такой же далёкой от осуществления, какой была вначале. Напряжение его труда, напряжение переводимых им на родину денежных сумм, напряжение тоски по умершему, ни разу не увиденному ребёнку – все это, вместе взятое, надрывало юношу больше, быть может, чем могло надорвать зрелого мужчину. Мучительна была для этого молодого жизнерадостного человека необходимость отказывать себе во всем, что так влечёт к себе именно юношество, не успевшее ничем пресытиться. Седоголовые мистеры, знавшие трудолюбие, бережливость и скромное поведение Дика, одобрительно хлопали его по плечу, повторяя старую поговорку:

Юноша, который хочет отличиться в своём деле,
Должен избегать мамзелей, зелей, зелей.

Дик, вообразивший, что дошёл уже до предела всех человеческих испытаний, подострастно смеялся при этих покровительственных шуточках старших, а перед его глазами неистово кружились и прыгали цифры сведённых им в конторских книгах балансов. Эти цифры не оставляли его в покое ни днём, ни ночью. Но ему предстояло переварить ещё одно новое испытание, которое должно было показаться ему горше всех остальных, уже перенесённых. Пришло новое письмо от милой жёнушки, являвшееся, собственно, естественным последствием предыдущих посланий мистрис Хэт. Тяжесть этого письма заключалась в извещении, что она нашла человека получше него, Дика, и ушла к нему. Объяснения её поступка сводились к тому, что она не намерена ждать вечно, когда он позовет её к себе. Ребёнок умер, а сам

Дик был только глупым мальчиком. И почему он не махал ей платком, когда они расставались в Грэвсэнде? Она знает, что она гадкая женщина, но пусть её судит Бог, а Дик не имеет права её судить, потому что он сам поступает гораздо хуже там, в своей Индии, куда он не хочет её брать, чтобы она не мешала ему весело жить. А новый её избранник целует землю, по которой она ступает. Пусть Дик простит её, сама же она никогда его не простит. Нового своего адреса она ему не сообщает, потому что не стоит. И много ещё было в этом духе нацарапано милой жёнушкой.

Вместо того чтобы благодарить судьбу за своё освобождение, Дик в полной мере почувствовал всю ту сердечную боль, какую чувствует давно уже женатый мужчина, счастливо живший с женой. Дик помнил только то, какой была его жёнушка при его расставании с нею и с родной Англией, и как горько она плакала в последнюю ночь в их тридцатишестидесятикомнатке «с мебелью». Вспоминая об этом, он сам катался с боку на бок по своей жалкой подстилке на кровле индийского дома, плакал и грыз себе ногти. Ему и в голову не приходило отрезвляющее соображение, что если бы он теперь, после почти двухлетней разлуки, встретился с женой, то оба они нашли бы друг друга сильно изменившимися, совсем другими, чем в тот день, когда ходили в регистратуру записываться мужем и женой. Ночь после прихода парохода из Англии, с которым могла бы приехать мистрис Хэт, если бы все было в порядке на земле, эта ночь прошла для Дика особенно мучительно.

На следующий день после этой ужасной ночи Дик почувствовал себя нерасположенным к работе. Ему казалось, что он страшно постарел и жизнь не имеет для него больше никакой прелести. Все ему опротивело, все было немило. И это в то время, когда ему шёл всего двадцать третий год. Как мужчина, он понимал, что он обесчещен, а мальчик в нем добавлял, что теперь ему пора отправляться к черту. Последнее было напрасно, но ему казалось, что это верно. Опустив голову на промасленную зеленую скатерть, он безутешно плакал, готовясь отказаться от должности и от всего, что было связано с должностью.

Но труды его не пропали даром и были, наконец, вознаграждены. Ему было дано три дня сроку на обсуждение своего нового шага – отказа от службы. За это время глава конторы сносился с кем-то по телеграфу, и когда пришёл Дик, то сказал ему, что ввиду необычайного трудолюбия мистера Хэта и проявленных им чрезвычайных служебных способностей вообще, ввиду всех заслуг молодого человека он, глава конторы, нашёл возможным, в виде чрезвычайного исключения из общих правил, предложить ему, мистеру Хэту, перейти на высшую должность. Разумеется, сначала он займёт эту высшую должность лишь в качестве претендента, и если он с течением времени окажется таким способным к ней, каким все надеются его видеть, судя по его предыдущей работе, то он, мистер Хэт, разумеется, и будет утверждён в ней.

– А сколько жалованья даст мне эта должность? – спросил Дик.

– Шестьсот пятьдесят рупий, – прозвучало в ответ.

И вот когда началось последнее, зато и самое сильное терзание для Дика. Шестьсот пятьдесят рупий! Это было ровно вдвое больше того, что он получал до сих пор. Этого было вполне достаточно, чтобы спасти крошку-сына и милую жёнушку и не бояться открыто признать себя женатым.

Дик разразился хохотом, скверным, диким, завывающим хохотом, которому, казалось, и конца не будет. Когда же наконец он пришёл в себя после этого припадка чрезвычайной весёлости, то потухшим голосом сказал:

– Спасибо вам. Но я устал. Я стар и разбит. Мне пора уйти на покой. И я ухожу.

– Мальчик-то сошёл с ума, – изрёк глава конторы.

И я думаю, что это было верно, Сам Дик не брался решить этот вопрос.

СВИНЯ

Дело началось с лошади, обладавшей норовом, которую продал Пинкоффин Неффертону, чуть было не убившей Неффертона. Может статься, были и другие причины разлада, и лошадь была лишь предлогом для открытого выражения зародившейся между двумя людьми неприязни. Во всяком случае, Неффертон сердился, когда лошадь едва не лишила его драгоценной жизни, Пинкоффин же смеялся и говорил, что он никогда и не ручался за манеры лошади. Рассмеялся и Неффертон, хотя и поклялся, что никогда не забудет, как его «подвёл» Пинкоффин.

Надо знать, что Пинкоффин и Неффертон были уроженцами разных областей. Первый происходил из местности, где люди мягки, как почва их болотистой стороны, второй же появился на свет в горах, поэтому и характер его был твёрдый, как гранит. Пинкоффин мог все простить, а Неффертон был человек крепкий во всех своих делах. Он гонял Пинкоффина по всей стране, по всему Пенджабу, выбирая для него самые бесплодные места. Он говорил, что не позволит разным комиссионерам общественной помощи продавать ему негодных щенков в виде дрянных, без толку скачущих, непослушных, невоспитанных, дико визжащих по пустякам деревенских кляч, не позволит без того, чтобы не превратить им, этим комиссионерам, жизнь в сплошное бремя. Так пусть они и знают.

Многие из комиссионеров общественной помощи, попав в провинцию и немного поглядевшись там, проявляют склонность к какому-нибудь специальному делу. Молодые люди с хорошим пищеварением стремятся вписать своё имя в книгу славных пограничных подвигов и забираются в самые страшные места вроде Бенну и Когета. Жёлчные пробираются в секретариат, где печени приходится особенно плохо. Третьи увлекаются произведениями местной промышленности, гэснивидиской монетой или персидской поэзией. Другие, фермерского происхождения, упоённые запахом земли после первых дождей, чувствуют себя призванными «способствовать развитию земледелия» в провинции. Люди последнего сорта обычно восторженны. Пинкоффин и был подобного сорта.

Пинкоффин знал множество интересных фактов о быках, временных колодцах, скрёбках для опиума и о том, что должно случиться, если пережечь слишком много разной дряни на полях, ради лучшего удобрения почвы и усиления её плодородия. Весь род Пинкоффина был земледельческий, так что в его лице земля получала обратно лишь своё. К несчастью для Пинкоффина, он был не только фермером, но и цивилизованным человеком. Неффертон наблюдал за ним и думал о лошади. И как-то раз он говорит мне:

– Загоню этого парня до смерти.

Я ответил Неффертону:

– Нельзя же вам убить комиссионера Помощи.

Неффертон возразил мне на это, что я ничего не смыслю в делах провинциального управления.

Наше правительство довольно странное. Оно преисполнено нежности к вопросам земледелия и осведомления и охотно снабдит всякого рода экономико-статистическим материалом каждого степенного и порядочного человека, умеющего хорошо просить об этом. Предположим, вы заинтересовались промывкой золотоносных песков Сетледжа. Приводите в движение телеграфную проволоку и замечаете, что это движение подняло на ноги полдюжины разных департаментов. В конце концов с вами по телеграфу общается один из ваших же старых товарищей, который когда-то написал несколько беглых заметок о нравах промывателей золотоносных песков, когда он был руководителем некоторых работ в той части империи, где водятся эти пески. И вот, хочет он или не хочет, но должен по полученному свыше распоряжению давать вам все те сведения, в которых вы можете нуждаться на предстоящей вам практике. Это

зависит от его темперамента. Чем крупнее вы по своему положению, тем больше вы можете требовать сведений и тем больше поднять суматохи.

Неффертон не был «крупным» человеком, но обладал репутацией очень «серьёзного». «Серьёзный» человек много может сделать с правительством. Был такой «серьёзный» человек, который едва было не погубил... Но эту историю знает вся Индия. Я не вполне уверен в том, что именно такое «настоящая» серьёзность. Знаю только, что «серьёзность» отлично можно подделать. Для этого нужно лишь одеваться понебрежнее, с задумчивым видом плести всякую туманную чепуху, брать на дом сверхурочную работу, просидев на службе до семи часов вечера, и по воскресным дням принимать у себя целую кучу местных джентльменов. Таков один вид «серьёзности».

Неффертон искал колышек, к которому мог бы прицепить свою «серьёзность», и провод, по которому мог бы иметь постоянное общение с Пинкоффином. Он нашёл то и другое – в образе свиней. Неффертон проявил страстный интерес к свиньям. Он уведомил правительство, что намерен выработать проект, по которому можно будет прокормить большую часть британской армии в Индии свининой, что даст значительную экономию. К этому он добавил, что осведомительным материалом, необходимым ему для вполне успешной выработки проекта, мог бы снабдить его мистер Пинкоффин. Проникнувшись всем этим, правительство написало на обороте письма Неффертонна следующее: «Предписать мистеру Пинкоффину снабдить мистера Неффертонна всеми необходимыми сведениями, имеющимися в его распоряжении». Правительство всегда готово делать на оборотах писем и других бумаг такие надписи, которые впоследствии приводят к разного рода затруднениям и беспокойствам.

Лично Неффертон ничуть не интересовался свиньями, но он знал, что Пинкоффин обязательно попадётся на эту удочку. Пинкоффин был в восторге, когда у него потребовали по возможности подробных сведений насчёт свиней. Индийская свинья не играет большой роли в земледельческой жизни, но Неффертон объяснил Пинкоффину, что тут есть простор для преуспевания на служебном поприще, и вошёл с ним в постоянные прямые сношения.

Вы, наверное, думаете, что из свиней немного можно извлечь. Но все зависит от того, как взяться за дело. Будучи деловым человеком и желая как можно добросовестнее выполнить возложенную на него задачу, Пинкоффин написал подробный очерк о первобытной свинье, о мифологии свиней и о дравидической свинье. Неффертон убрал этот очерк в стол и пожелал узнать, какое количество свиней существует в Пенджабе, как оно распределено по местностям и как выдерживают свиньи период жары. Прошу вас помнить, что я даю вам лишь краткий обзор всего этого свиного дела, одну, так сказать, основу этой паутины, которой Неффертон опутал Пинкоффина.

Получив новое указание, Пинкоффин засел за изготовление цветной карты свиного населения в Пенджабе и таблицы сравнительной продолжительности жизни свиней, во-первых, в подгорных областях Гималаев, а во-вторых, в Речна-Доабе. Неффертон убрал и это в стол и запросил Пинкоффина о том, какая часть населения предьявляет наибольший спрос на свиней. Это вызвало со стороны Пинкоффина этнографический очерк о свиних стадах и длиннейшие таблицы процентного исчисления потребителей свинины в различных местностях. Неффертон присоединил эту кипу к предыдущим трудам Пинкоффина и объяснил автору, что просимые сведения нужны ему относительно заселенных областей, в которых, как он слышал, водятся особенно крупные и деликатные свиньи и где он хотел бы построить завод.

Между тем правительство совершенно забыло о распоряжении, сделанном им Пинкоффину. Получалось вроде того, как описано в одной из поэм Кина, где изображён человек, вращающий прекрасно смазанные колёса, чтобы сдирать шкуру с других. Но Пинкоффин только что вошёл во вкус свиного спорта, и Неффертон предвидел, что он исполнит и его последнее требование. И хотя Пинкоффину было достаточно и собственного дела, но во славу службы он

проводил целые ночи за новыми вычислениями, вплоть до пятизначных десятичных дробей. Он не хотел казаться невеждой в таком простом вопросе, как свиной.

Тут правительство командировало Пинкоффина в Ковет, со специальной целью разведать относительно длинных, семифутовых, обитых железом лопат, бывших в употреблении в той стране. Местное население имело обыкновение убивать друг друга с помощью этих орудий мирного труда. Правительство вдруг пожелало знать, «нельзя ли будет попытаться в качестве временной меры ввести среди местного населения применение более удобного земледельческого орудия, не затрагивая ненужным, раздражающим образом существующих религиозных воззрений и обычаев населения». Зажатый между лопатами и свиньями, Пинкоффин почувствовал себя довольно стеснённым.

Теперь Неффертон поднял вопрос, во-первых, о кормовых средствах для местной свиньи, могущих послужить для образования лучшего мяса, и, во-вторых, об акклиматизации экзотической свиньи с сохранением её природных особенностей, Пинкоффин поспешил ответить, что экзотическая свинья непременно будет поглощена местным типом, и присоединил к этому целую уйму статистических сведений, доказывавших его правоту. Этот вопрос долго обсуждался Пинкоффином, пока наконец Неффертон не признался, что ошибался, и выдвинул на первый план свой первый вопрос о кормовых средствах и проч. Когда же Пинкоффин исписал целую стопу бумаги исследованиями о мясообразующих средствах, о белках, глюкозе и азотных соединениях, содержащихся в маисе и клевере, Неффертон возбудил вопрос об издержках. За это время Пинкоффин, успевший вернуться из своей командировки в Ковет, развил свою собственную теорию о свиноводстве, которую и расписал на тридцати трех страницах большого формата. Получив эту исписанную груду бумаги, Неффертон убрал её и попросил новых сведений.

Вся эта история тянулась десять месяцев, и после того, как Пинкоффин изложил свои личные соображения насчёт целесообразного свиноводства, его интерес к этому делу, видимо, начал ослабевать. Но Неффертон бомбардировал его письмами на тему правительственных взглядов на попытку распространить торговлю свиной, что может оскорбить религиозное чувство мусульманского населения Верхней Индии. Пинкоффин в огромной блестящей статье доказал, что, по сделанным им тщательным наблюдениям, торговля данным продуктом едва ли может произвести какое-либо возбуждение среди населения, исповедующего мусульманскую религию.

Тогда Неффертон удостоверил, что глубже искусного нигилиста никто не может разобрататься в данных вопросах, и косвенно внушил Пинкоффину мысль вычислить приблизительную прибыль от продажи свиной щетины. Относительно свиной щетины существует целая литература; из неё изготовляют разные сорта всяких щёток и изделий, и темнокожие торговцы знают больше сортов щетины, чем вы можете вообразить. Подивившись немного на силу страсти Неффертона к новым сведениям, Пинкоффин послал ему объёмистую монографию, страниц в пятьдесят с лишком, о свиных продуктах. Это привело Пинкоффина под нежным нажимом неффертоновской руки к изысканиям по торговле свиной кожей для выделки сёдел, а затем и по дубильному искусству. Пинкоффин сообщил, что зёрна граната – самое лучшее средство для дубления свиной кожи, и намекнул – и устал же парень от четырнадцатимесячных добавочных трудов! – что Неффертону следовало бы прежде всего вывести своих свиней, а потом уж думать о дублении их кожи.

Неффертон вернулся ко второй части своего вопроса номер пять: «Какими способами можно добиться, чтобы экзотическая свинья давала столько же мяса, сколько даёт свинья на западе, и вместе с тем сохранила бы все существенные особенности щетины своих восточных сородичей?» Пинкоффин обомлел, потому что забыл, о чем он писал шестнадцать месяцев тому назад по этому вопросу, и подумал, что ему предстоит удовольствие начать все с начала. Так бы он и сделал, потому что с головой запутался в сетях Неффертона и не мог уже выбраться

из них. Однако, одумавшись, он позволил себе написать Неффертону: «Перечитайте моё первое письмо, в котором я изложил все нужное о дравидической свинье». Напрасно он в своё время оставил открытым вопрос о поглощении одного типа другим и о сопряжённых с этим последствиях; теперь ему приходилось заняться им вновь и решить его уже в положительном, а не уклончивом смысле. Этого он старался избегнуть, почему и отослал Неффертона к своему первому письму, надеясь, что это, наконец, охладит его чересчур уж усердного и требовательного корреспондента.

Но тут-то Неффертон и раскрыл свою замаскированную батарею. В пышных выражениях он пожаловался правительству на «скудость оказанной мне помощи в моих серьёзных стремлениях создать мощную и обещающую существенную прибыль отрасль промышленности и на небрежность, с коей были встречены мои просьбы о предоставлении необходимых сведений со стороны джентльмена, псевдонаучные изложения которого доказывают, что он незнаком даже с самыми главными различиями между дравидийской и беркширской разновидностями свиной породы. Если мне признать, что письмо, на которое ссылается сказанный джентльмен, содержит его точные взгляды на акклиматизацию ценного, хотя, быть может, и нечистоплотного животного, то я вынужден думать...» и пр., и пр.

Во главе департамента, налагающего наказания, стояло новое лицо. Злополучному Пинкоффину было указано, что служба создана для страны, а не страна для службы, и что Пинкоффину лучше бы поспешить начать, наконец, сбор потребованных от него ещё два года тому назад верных и подробных сведений о свиноводстве.

Пинкоффин с бешеной торопливостью ответил правительству, что им было сообщено решительно все, что только можно сообщить о свиньях, и что он имеет право ставить себе это в некоторую заслугу.

Неффертон достал копию этого письма и очерк о дравидийской свинье и отправил в одну из провинциальных газет, которая и напечатала полностью оба документа. Это было смело, потому что если бы издатель мог видеть гору статистических трудов, написанных Пинкоффинном и загромождавшую весь письменный стол Неффертона, то вряд ли этот издатель решился бы написать такую саркастическую заметку о «туманных рассуждениях и об ошеломляющей самоуверенности современного карьериста, совершенно не способного ухватить смысл практических вопросов». Некоторые из добрых друзей Пинкоффина вырезали эту заметку и послали ему.

Я уже говорил, что Пинкоффин был человек мягкой породы. Последний удар, направленный в него, испугал и потряс его. Он не мог понять, за что он получил этот удар, но чувствовал, что позорно заведён в тупик Неффертоном. Он сознавал, что совершенно зря надрылся разработкой сведений по свиному делу и что ему теперь будет трудно оправдаться перед правительством. Все его знакомые дразнили его «туманностью его изысканий» и «ошеломляющей самоуверенностью», констатируемыми издателем газеты, и это расстраивало злополучного непризнанного труженика.

Он сел в поезд и отправился к Неффертону, с которым не виделся с того времени, как началась свиная история. Он захватил с собой газетную вырезку, яростно ругался, но быстро выдохся.

Неффертон был очень мил и любезен с ним, наконец, сказал:

– Кажется, я доставил вам некоторое беспокойство? Не так ли?

– Некоторое беспокойство! – снова вспыхнув, вскричал Пинкоффин. – О причинённом мне беспокойстве не буду много говорить, хотя оно было довольно чувствительно. Обидно мне, главное, то, что напечатано в газете. Это будет преследовать меня всю мою службу. Я изо всех сил старался с вашими бесконечными свинными вопросами, и нехорошо, что вы за это так скверно поступили со мной, право, нехорошо.

– Не понимаю, на что вы жалуетесь и чем недовольны, – хладнокровно возражал Неффертон. – Ведь вас, кажется, не надували с покупкой лошади? Я не говорю о деньгах, заплаченных мной за вашу дрянную лошаде́нку, хотя невелико удовольствие терять такую уйму денег, но обидны были те насмешки, которыми осыпал меня тот самый человек, который продал мне эту дрянную клячу. Впрочем, теперь я с ним уже хорошо поквитался. Думаю, будет помнить.

Пинкоффину ничего больше не оставалось, как излить ещё поток разных общепринятых ругательств. Неффертон слушал его с милой улыбкой, а потом пригласил обедать.

В доме Седдху

Дом Седдху у Таксалийских ворот двухэтажный, с четырьмя резными окнами из старого бурого дерева и с плоской кровлей. Его можно узнать по пяти красным отпечаткам руки, расположенным в виде пятёрки бубён на выбеленном известью промежутке между верхними окнами. Бхагван Дасс, лавочник, и человек, говоривший, что зарабатывает свой хлеб резьбой печатей, жили на нижнем этаже с целой оравой женщин, слуг, знакомых и жильцов, снимавших отдельные комнаты.

В верхнем этаже обычно помещались Джану и Азизун с маленьким желтоногим терьером, которого один солдат украл у англичан и подарил Джану. Седдху имел привычку спать на крыше, если только не ночевал на улице. Обычно в холодную погоду он отправлялся в Пешавар к сыну, торговавшему редкостями у Эдуардовых ворот, и спал там под настоящей крышей из грязи.

Седдху – мой приятель, потому что моя рекомендация помогла его родственнику получить место главного рассыльного в одной из крупных фирм. Седдху говорит, что Бог пошлёт на днях мне место вице-губернатора. Позволяю себе думать, что его пророчество сбудется.

Он очень-очень стар, совсем сед и почти без зубов, почти выжил из ума и все позабыл, кроме своей привязанности к сыну, живущему в Пешаваре. Джану и Азизун – уроженки Кашмира, местные леди, занимавшиеся старинным, более или менее почётным ремеслом, но Азизун потом вышла замуж за студента-медика из северо-западных провинций и живёт в Барейли, уважаемая всеми.

Бхагван Дасс занимался лихоимством и разными подделками. Он очень богат. Человек же, считавшийся резчиком печатей, уверяет всех, что он очень беден. Теперь вы знаете все, что вам нужно, о четырех главных обитателях дома Седдху. Что же касается меня, то я только хор, выступающий в конце для объяснения положения вещей. Так что, я в счёт не иду.

Седдху не был умен. Самым умным из всех, кроме Джану, был человек, называвший себя резчиком печатей. Бхагван Дасс же только умел лгать. Джану была красива, но это уж её личное дело.

Сын Седдху в Пешаваре заболел плевритом, и старик беспокоился. Резчик же, услышав о тревоге Седдху, сделал из неё предмет наживы для себя, воспользовавшись обстоятельствами. Он запасся в Пешаваре знакомым, который должен был телеграфировать ему ежедневно о здоровье сына Седдху. Вот тут-то и начинается история.

Родственник Седдху сказал мне однажды вечером, что Седдху хочет видеть меня, что он слишком стар и слаб, чтобы прийти самому, и что я навеки окажу почёт дому Седдху, если навещу его хозяина. Я согласился, но, видя, как Седдху хорошо жил в то время, подумал, что он мог бы прислать в этот туманный апрельский вечер что-нибудь и получше страшно тряской эки, чтобы довести до города будущего вице-губернатора. Эка ехала медленно. Было совершенно темно, когда мы остановились напротив двери в гробницу Ранджит Сингха, близ главных ворот форта. Здесь ждал Седдху, который сказал мне, что уж теперь, точно, за свою снисходительность я получу место губернатора, прежде чем успею поседеть. Потом мы ещё с четверть часа поговорили при свете звёзд о погоде, о состоянии моего здоровья и о жатве пшеницы.

Наконец, Седдху подошёл к главному. Он сказал, что Джану сообщила ему о приказе Сиркара преследовать всякое колдовство из опасения, что колдовство может в один прекрасный день убить императрицу Индии. Я не знал, в каком положении находился закон, но предчувствовал, что должно случиться что-нибудь интересное. Я сказал, что колдовство не только не запрещается, но даже рекомендуется. Им занимаются даже высшие государственные сановники. (Если финансовый государственный отчёт не колдовство, то я уж не знаю, что он такое.)

Потом, чтобы ещё больше поощрить старика, я сказал, что если предстоит джаду (гаданье), то я не имею ничего против, если это только чистое джаду, в противоположность нечистому, убивающему людей. Седдху не сразу признался, что именно затем он и пригласил меня. Потом отрывками и с опаской он сообщил, что человек, называвший себя резчиком печатей, волшебник чистой воды; что он ежедневно сообщал Седдху вести о его больном сыне в Пешаваре скорее, чем перелетит искра, а между тем эти вести приходят письмами. Далее, он открыл Седдху, какая большая опасность грозит его сыну, и что она может быть устранена чистым джаду, но что, конечно, это потребует больших расходов. Я начинал соображать, в чем дело, и сказал Седдху, что и я также умею колдовать по-западному и пойду к нему в дом взглянуть, чтобы все было в порядке и как следует. Мы отправились вместе, и дорогой Седдху рассказал мне, что заплатил резчику уже около двухсот рупий, а сегодняшнее джаду будет стоить ещё двести, что, по его словам, – хотя я и не думаю, чтобы он был искренен – дешево, если принять во внимание величину опасности, грозившей его сыну.

Когда мы подъехали, все огни по фасаду дома были погашены. Из мастерской резчика доносились странные звуки, будто у кого-то со стоном душа расставалась с телом. Седдху весь трясся и, когда мы взобрались по лестнице наверх, сказал, что джаду началось. Джану и Азизун встретили нас наверху и сказали, что джаду происходит в их комнатах, потому что там просторнее. Джану – дама свободомыслящая. Она шепнула мне, что все это – одна выдумка, чтобы выманить деньги у Седдху, и что резчик после смерти отправится в место, где очень жарко; Седдху по своей старости чуть не плакал от страха. Он в полумраке ходил по комнате, твердя имя сына и спрашивая Азизун, не сделает ли резчик скидки ему как домохозяину. Джану толкнула меня в нишу резного окна. Ставни были закрыты, и комната освещалась только маленькой масляной лампочкой. Я мог быть вполне уверен, что меня не увидят, если я буду стоять тихо.

Стоны наверху прекратились, и мы услышали шаги на лестнице. Это был резчик.

Он остановился у двери, когда терьер заворчал.

Азизун загремела цепью, и колдун приказал Седдху погасить лампу. Комната погрузилась в густой мрак, среди которого красным огнём горели только две «хука», которые курили Джану и Азизун. Резчик вошёл, и я услышал, как Седдху упал на пол и застонал. Азизун сдерживала дыхание, а Джану с дрожью откинулась на одну из кроватей. Послышался звон чего-то металлического, и над полом вспыхнуло синевато-зеленое пламя. При слабом свете я увидел Азизун, прижавшуюся к стене в углу комнаты и зажавшую терьера между колен, Джану, всплеснувшую руками и так и оставшуюся на кровати, и, наконец, резчика.

Надеюсь, мне никогда в жизни не придётся увидеть такого человека, как этот резчик. Он был обнажён по пояс; голову его обвивал венчик из белого жасмина толщиной в мою руку; талия была обмотана куском полотна цвета сёмги, на щиколотках – стальные браслеты. Во всем этом не было ничего странного, но на меня повеяло ужасом от лица этого человека. Во-первых, оно было серовато-синее. Во-вторых, глаза закатились так, что оставались видимы одни только белки; а в-третьих, лицо его было лицом демона, чего хотите, только не лоснящееся, пропитанное жиром лицо старика, сидевшего днём над своим токарным станком внизу. Он лежал на животе, закинув руки на спину, будто связанный. Только голова и ноги не лежали на полу. Они поднимались под прямым углом к телу, как голова кобры, готовящейся к прыжку. Все это представляло ужасный вид.

Посреди комнаты, на голом земляном полу, стоял глубокий медный таз со слабым голубым пламенем, мерцавшим, как блуждающий огонёк. Человек на полу прополз, извиваясь, три раза вокруг таза; как он это сделал, я не знаю. Я видел, как мускулы напрягались у него на спине и как опять опадали, но другого движения я не мог заметить. Голова казалась единственной живой частью его тела, кроме медленно напрягавшихся и расслаблявшихся мускулов; Джану на постели дышала, по крайней мере, семьдесят раз в минуту; Азизун закрыла лицо руками, а старик Седдху, вытирая пальцами грязь, впутавшуюся в его седую бороду, тихо плакал. Центр

всего этого ужаса составляло это существо, извивавшееся и ползавшее по земле, только молча ползавшее. И притом, это тянулось целых десять минут, в течение которых терьер визжал, Азизун и Джану задохнулись, а Седдху плакал.

Я чувствовал, что у меня волосы поднимаются дыбом и сердце бьётся, как маятник метронома. К счастью, резчик выдал себя тем из своих фокусов, который должен был произвести наибольшее впечатление, и я сразу успокоился. Окончив своё невыразимое пресмыкание, он поднял, насколько мог, голову над полом и пустил из ноздрей струю пламени. Я знаю, как можно дышать огнём, сам могу устроить это, и поэтому совершенно перестал волноваться. Все это было обманом. Если бы он ограничился своим ползанием, не старался усилить эффект, Бог знает, что бы мне могло прийти в голову. Обе женщины пронзительно закричали при виде пламени, и голова с глухим стуком опустилась на пол подбородком вниз, тело же лежало, как труп, с раскинутыми руками. После этого наступила пауза, продолжавшаяся целых пять минут, и зеленовато-голубое пламя погасло. Джану нагнулась, чтобы поправить один из ножных браслетов, а Азизун отвернулась лицом к стене, прижав к себе терьера. Седдху машинально протянул руку к «хука» Джану, и она ногой подвинула её к нему по полу. Над телом заклинателя на стене появились портреты королевы Виктории и принца Уэльского в рамках из гербовой бумаги. Они смотрели на все происходившее и, на мой взгляд, увеличивали странность всей сцены.

Как раз в ту минуту, когда молчание стало невыносимым, тело перевернулось и покатилося от жаровни к стене, где осталось лежать животом кверху. Из медного таза донёсся слабый плеск – звук, совершенно похожий на звук, издаваемый рыбой, когда она хватается муху, и зелёный огонь снова вспыхнул.

Я взглянул на таз и увидел барахтающуюся засушенную голову туземного ребёнка с открытыми глазами, разинутым ртом и выбритым черепом.

По своей неожиданности появление головы произвело ещё более сильное впечатление, чем ползание. Мы не успели произнести ни слова, как ребёнок заговорил.

Прочтите рассказ Эдгара По о том, как заговорил умирающий под влиянием внушения, и вы поймёте, хотя бы наполовину, ужас, который испытали мы, услышав голос этой головы.

Каждое слово отделялось от следующего промежутком в секунду или две, и в голосе слышался звук, похожий на звук колокольчика. Голос медленно, тягуче лепетал что-то, будто говоря сам с собой, пока я обливался холодным потом. Но тут мне пришло в голову счастливое решение загадки. Я взглянул на тело, лежавшее у двери, и увидел, как раз в том месте, где впадина шеи сходится с плечами, бывший непрерывно мускул, который никогда не поднимается при правильном дыхании человека. Все это было точным воспроизведением египетского заклинания, о котором я читал где-то, и голос был ни дать ни взять голос чревоушателя. Все это время голова ребёнка качалась, наклоняясь к стенкам таза и лепеча. Она опять, вереща, говорила Седдху о болезни его сына и о состоянии его самого до этого вечера. Я всегда буду уважать резчика печатей за то, что он так точно придерживался времени, обозначенного в пешаварской телеграмме. Ребёнок продолжал говорить, что за больным ухаживают день и ночь самые лучшие доктора и что он может даже совсем выздороветь, если плата могучему волшебнику, которому голова в тазу подчинена, будет удвоена.

Вот тут-то произошла ошибка, так сказать, с артистической точки зрения. Два раза требовать удвоения условленной платы голосом, которым мог говорить Лазарь в гробу, – бессмыслица. Джану, женщина с действительно мужским умом, поняла это так же быстро, как и я. Я слышал, как она презрительным шёпотом говорила: «Асли нахин. Фарейб». В ту же минуту свет в тазу погас, голова же перестала лепетать, и мы услышали, как дверь скрипнула. Джану чиркнула спичку, зажгла лампу, и мы увидели, что голова, жаровня и резчик исчезли. Седдху ломал руки и уверял всех, кто только слушал его, что, если бы даже от того зависело вечное спасение, он не был бы в состоянии собрать ещё двести рупий. Азизун в углу была близка к

истерике, между тем как Джану, усевшись спокойно на одной из постелей, рассуждала о вероятности того, что все это бенау, то есть обман.

Я объяснил, насколько мог, джаду резчика, но её объяснения были гораздо проще.

– Колдун, который просит все новых подарков, не настоящий колдун, – пояснила Джану. – Мать говорила мне, что действуют только те приворотные слова, которые говорят тебе любя. Резчик – лгун и дьявол. Я не смею ни сказать, ни сделать ничего, потому что должна Бхагван Дассу за два золотых кольца и тяжёлый браслет. Я получаю заработок через его лавку. Бхагван Дасс – приятель резчика, и он отнял бы у меня хлеб. Резчик колдовал уже десять дней, и каждая ночь стоила Седдху много рупий. Прежде резчик употреблял чёрных кур, лимоны и мантра. Но такого джаду он не показывал нам до сегодняшней ночи. Седдху выбился из сил и выжил из ума. Посудите сами: я надеялась получить от него много рупий после его смерти, а он, видите ли, все швыряет на этого потомка дьявола и ослицы – резчика.

Тут я спросил:

– Но что заставило Седдху впутывать меня в эти дела? Конечно, я могу поговорить с резчиком, и он отступится от своих требований. Все это – ребячество, позор и бессмыслица.

– Седдху – старый ребёнок, – сказала Джану. – Он прожил на крыше свои семьдесят лет и глуп, как молочная коза. Он позвал вас сюда, чтобы удостовериться, что он не нарушает закона Сиркара, соль которого ел много лет тому назад. Он поклоняется праху ног резчика, а этот истребитель коровьего мяса запретил ему навестить его сына. Что знает Седдху о ваших законах или проволоках, по которым бегают искра? А мне приходится смотреть, как его деньги день за днём переходят к этому вралю внизу.

Джану топнула ногой и чуть не заплакала от досады, Седдху верещал в углу под одеялом, а Азизун пыталась вставить чубук в его старый рот.

Ну, теперь дело обстоит так. Я предложил свои услуги, чтобы помочь изобличить резчика в том, что он вымогает деньги под вымышленным предлогом, что запрещается 420-й статьёй индийского уголовного кодекса. Я совершенно беспомощен, я не могу оповестить полицию. Какие свидетели могли бы поддержать моё показание? Джану наотрез отказалась, и Азизун – одна из женщин окрестностей Барейли, носящих покрывала (т. е. замужняя), затерявшаяся в нашей обширной Индии. Я не смею заговорить от имени закона с резчиком, потому что уверен, что не только Седдху не поверит мне, но что этот шаг окончится отравлением Джану, связанной по рукам и ногам своим долгом. Седдху – старый болтун, и при всякой встрече, шамкая, повторяет мою глупую шутку, что Сиркар скорее покровительствует чёрной магии, чем наоборот. Его сын теперь выздоровел, но Седдху находится под влиянием резчика и устраивает всю свою жизнь по советам Резчика. Джану продолжает смотреть, как деньги, которые она надеялась получить после смерти старика, день за днём переходят к резчику, отчего она день ото дня становится сердитее и мрачнее.

Она ничего не говорит, потому что не смеет, но я боюсь, что если не случится чего-нибудь, способного удержать её, резчик умрёт около середины мая от холеры, вызванной приёмом мышьяка. Таким образом, я окажусь причастным к убийству в доме Седдху.

Подлог в банке

Если бы Реджи Бёрк был теперь в Индии, он рассердился бы, что я рассказываю эту историю, но так как он в Гонконге, и она не попадётся ему на глаза, то я могу спокойно повести свой рассказ.

Реджи совершил большой подлог в Синд-Сиалкотском банке. Он был там заведующим иностранным отделением и считался очень практичным, дельным человеком, с большим опытом по части местных ссуд и страхований. Реджи Бёрк умел совмещать развлечения повседневной жизни со своей работой, и притом хорошо работать. Он ездил на любой лошади, танцевал так же ловко, как ездил верхом, и без него не обходилось ни одно развлечение на станции.

Как он сам говорил и как убеждались, к своему удивлению, многие из его знакомых, в нем сидело два Реджи Бёрка: между четырьмя и десятью – готовый на что угодно, начиная с гимнастических упражнений в жаркий день и кончая пикником верхом, а с десяти утра до четырех – «м-р Реджинальд Бёрк, управляющий отделением Синд-Сиалкотского банка».

Вечером вы могли играть с ним в поло и слышать его замечания о неправильном ходе противника, и на другое утро могли прийти в банк по поводу займа в две тысячи рупий или страхового полиса в пятьсот фунтов при уплате девяноста фунтов премии. Он бы узнал вас, но вы бы его не узнали.

Директора банка – его главное отделение находится в Калькутте, и слово его главного управляющего имеет большой вес у правительства – хорошо умели подбирать служащий персонал. Они испытали Реджи самым строгим образом, где другой, может быть, сломал бы себе шею, и доверяли ему настолько, насколько директора могли когда-нибудь доверять заведующему. Увидите сами, было ли это доверие необоснованно.

Отделение Реджи находилось на большой станции и работало с обычным составом служащих: заведующим, одним бухгалтером – оба были англичане – кассиром и несколькими туземными конторщиками. Ночью у дверей дежурила местная полиция из туземцев. Так как отделение находилось в промышленном округе, то главную работу составляло хунди и всякого рода ссуды. Только дурак не приобретёт быстро навык в такого рода делах, а умный человек, не водящий знакомства со своими клиентами и не знающий в точности их обстоятельств, хуже дурака. Реджи был моложавый, гладко выбритый человек, с искрой в глазах и такой головой, на которую никакая гупперовская мадера не могла повлиять.

Однажды, за большим обедом, он возвестил, что директора прислали ему в счетоводы редкостный естественноисторический экземпляр. М-р Сахас Рили, счетовод, был действительно любопытное создание – длинный, сухопарый, ширококостный йоркширец, полный сознания собственного превосходства, какие расцветают в каком-нибудь благословенном английском графстве. Надменность было мягкое слово для характеристики м-ра С. Рили. После семи лет работы он возвысился до места кассира в одном из гедерсфильдских банков, и вся его опытность ограничивалась северными факториями. Может быть, ему бы повезло больше в Бомбее, где банки довольствуются полупроцентом прибыли и где деньги дешёвы. Для южной, пшеничной, провинции, где человеку нужна светлая голова и некоторая доля воображения, чтобы свести удовлетворительный баланс, он был совершенно бесполезен.

В делах Рили дальше своего носа ничего не видел и, как новичок в этой местности, не имел понятия о том, что операции индийского банка совершенно отличны от лондонского. Как многие люди, пробившиеся только собственными силами, он был простодушен, и тем или иным путём вывел из обыкновенных вежливых выражений письма, которым принимался на службу, убеждение, что директора остановились на нем, благодаря его особенным, специальным талантам, и что они возлагают на него большие надежды. Это убеждение выросло и выкри-

сталлизовалось в нем, отчего его самомнение северянина ещё больше возросло. Здоровья он был слабого – страдал какой-то грудной болезнью – и характер имел резкий.

После этого вы, вероятно, согласитесь, что Реджи имел право называть своего нового бухгалтера естественноисторическим курьёзом. Эти два человека ни в чем не могли сойтись. Рили видел в Реджи дикого идиота, имеющего значение только благодаря своему положению, проживающего жизнь Бог знает по каким труппам, называемым «собраниями», и совершенно непригодного для серьёзных, важных банковских занятий. Он никак не мог примириться с его молодежью видом а la «черт меня побери» и никак не мог понять друзей Реджи – щеголеватых, беззаботных военных, приезжавших на воскресные завтраки в банк и рассказывавших глупые анекдоты, пока Рили не вставал и не выходил из комнаты.

Рили постоянно указывал Реджи, как надо вести дела, и Реджи не раз приходилось доказывать новому бухгалтеру, что семилетняя очень ограниченная практика в провинциальном банке вовсе не даёт человеку достаточного опыта для того, чтобы управлять большим делом в центре страны. Рили надувался и выставял себя столпом банка и возлюбленным другом директоров, а Реджи рвал на себе волосы. Когда подчинённые англичане не соблюдают субординации, управляющему приходится плохо, потому что от туземцев помощи можно ожидать только в очень ограниченных размерах. Зимой Рили часто по целым неделям болел, и Реджи приходилось работать за двоих. Но он предпочитал это постоянным неприятным столкновениям с Рили, когда тот бывал здоров.

Один из ревизоров, объезжающих временами банки, открыл эти столкновения и известил директоров. Рили попал в банк благодаря одному лицу, нуждавшемуся в поддержке отца Рили, желавшего отправить сына в жаркие страны из-за его лёгких. Человек, поместивший Рили, был вкладчиком банка, но одному из директоров хотелось провести в банк своего протеже, и после смерти отца Рили он убедил членов совета, что бухгалтер, болеющий полгода, должен, по справедливости, уступить своё место здоровому человеку.

Знай Рили всю историю своего назначения, он, быть может, держал бы себя иначе, но ему не было известно ничего, и когда он снова явился на службу после болезни, то упорно и безостановочно раздражал Реджи всем, чем только может досадить подчинённый, имеющий о себе преувеличенно высокое мнение. Реджи облегчал себе душу, обзывая его за спиной самыми обидными словами, но в лицо он никогда не оскорблял его, говоря, что «Рили такое хрупкое животное, что половина его проклятого самомнения происходит от того, что у него болит грудь».

В конце апреля Рили заболел действительно серьёзно. Доктор, выслушав и осмотрев его, сказал ему, что он скоро поправится, но потом пошёл к Реджи и спросил его:

– Знаете ли вы, как серьёзно болен ваш бухгалтер?

– Нет, – отвечал Реджи. – Чем хуже ему, тем лучше, черт его побери! Он только вечно во все впутывается, когда здоров. Я, право, выхлопочу вам награду от банка, если вы заставите промолчать его все лето.

Однако доктор не смеялся.

– Я не шучу, – сказал он. – Он пролежит в постели месяца три, а с неделю будет умирать. Клянусь честью и своей репутацией, больше он ничего не получит от жизни. У него злейшая чухотка.

Лицо Реджи сразу превратилось в лицо «м-ра Реджинальда Бёрка», и он спросил:

– Что я могу сделать?

– Ничего, – ответил доктор, – человек уже умер для каких-нибудь практических соображений. Дайте ему покой, старайтесь поддержать бодрое настроение духа и уверяйте, что он поправится. Вот и все. Я, конечно, буду навещать его до конца.

Доктор ушёл, а Реджи принялся за разборку вечерней почты. Первое, что попало ему под руку, было письмо одного из директоров, сообщавшего ему, что Рили будет отставлен от

должности через месяц, о чем предупреждается, согласно контракту. Рили получит на днях письменное уведомление, а место его перейдёт к новому бухгалтеру – человеку, которого Реджи знал и любил.

Реджи закурил сигару, и, прежде чем он докурил её, у него в голове созрел план подлога. Он отложил в сторону – «скрыл» письмо директора и отправился к Рили, который оказался нелюбезен, как всегда, и все время хвастливо сокрушался, как же банк обойдётся без него во время его болезни. Ему и в голову не пришло, сколько работы взваливается на плечи Реджи, и он только горевал, что его собственная карьера может пострадать. Реджи уверил его, что все обойдётся, а он, Реджи, ежедневно станет советоваться с ним, Рили, об управлении банком. Рили несколько успокоился, но дал понять, какого невысокого мнения он был о деловых способностях Реджи. Реджи держал себя скромно. А между тем у него в конторке хранились письма директоров, которыми могли бы гордиться знаменитые банковские дельцы Джильберт или Харди.

Дни проходили в большом доме, занавешенном от солнца. Реджи спрятал письмо об отставке Рили, а сам каждый вечер отправлялся с книгами в комнату Рили и показывал ему, что он сделал за день. Рили же насмешливо улыбался. Реджи выбивался из сил, чтобы своими отчётами угодить бухгалтеру, но тот был убеждён, что на днях должен наступить крах банка.

В июне, когда лежание надоело ему, он спросил, известно ли директорам об его отсутствии, и Реджи ответил, что они писали самые сочувственные письма, в которых выражали надежду, что он будет в состоянии скоро возобновить свои ценные занятия. Он показывал письма Рили, но тот заметил, что директорам следовало бы написать ему лично.

Несколько дней спустя в сумерки Реджи подали письмо на имя Рили, и он передал больному лист, но без конверта – письмо Рили от директора. Рили сказал Реджи, что он был бы благодарен ему, если бы тот не трогал его личных писем, когда он сам слишком слаб, чтобы распечатывать их. Реджи извинился.

Потом Рили стал ещё раздражительнее и стал читать Реджи нравоучения о его жизни, о пристрастии к лошадям и дурным знакомым.

– Конечно, лёжа, беспомощный, я не могу руководить вами, мистер Бёрк, но когда выздоровлю, то, надеюсь, вы обратите внимание на мои слова.

Реджи, забросивший и поло, и обеды, и теннис, и все вообще, чтобы ухаживать за Рили, отвечал, что он раскаивается, и, ничем не выдавая своего нетерпения, поправил на подушке голову больного, между тем как тот продолжал ворчать и читать наставления сухим отрывистым шёпотом. И все это должен был выносить Реджи после тяжёлой дневной работы в банке за двоих и во вторую половину июня.

Когда приехал новый бухгалтер, Реджи в общих чертах сообщил ему о положении дел, а Рили сказал, что приехал гость. Рили ответил, что следовало бы быть деликатнее и не приглашать к себе «сомнительного качества» приятелей в такое время. Реджи из-за этого снял для Каррона – нового бухгалтера – комнатку в клубе. Прибытие Каррона избавило его от части работы, и он мог посвящать больше времени Рили – объяснять ему, успокаивать его, придумливать, то и дело поправлять бедняге подушки и сочинять хвалебные письма из Калькутты. В конце первого месяца Рили пожелал послать восточку о себе домой, матери. Реджи отправил послание. В конце второго месяца Рили получил своё жалованье, как обычно: Реджи выдал его из собственного кармана и вместе с ним передал Рили чудное письмо от директора.

Рили был действительно очень болен, но пламя его жизни горело неровно. Временами он был весел и строил планы о будущем, мечтая поехать домой и повидаться с матерью. Реджи, приходя из банка, терпеливо выслушивал и ободрял его.

Иногда же Рили настаивал, чтобы Реджи читал ему Библию и мрачные методистские трактаты. Из последних он выводил нравоучения для заведующего. Но у него всегда находилось время, чтобы критиковать банковские дела и указывать Реджи, в чем недосмотр.

Постоянное пребывание в комнате больного и то, что он не бывал на свежем воздухе, очень влияло на Реджи. Нервы его ослабли, и его игра на бильярде понизилась на сорок очков. Но банковские дела и уход за больным нельзя было бросить, хотя термометр и показывал 116 градусов в тени.

К концу третьего месяца силы Рили стали быстро убывать, и он сам начал понимать, что очень болен. Но самомнение, из-за которого он мучил Реджи, отдаляло от него сознание безнадёжности его положения.

– Необходимо чем-нибудь поддерживать его умственную деятельность, если хотите, чтобы он ещё протянул, – говорил доктор. – Постарайтесь как-нибудь возбудить его интерес к жизни.

И Рили, наперекор всем существующим законам и правилам, получил от директоров 25 процентов прибавки к жалованью. Возбудить «умственную деятельность» удалось великолепно. Рили был счастлив и доволен и, как это часто бывает с чахоточными, чувствовал себя бодрее духом, между тем как тело слабело. Он тянул ещё месяц, иронизируя и критикуя банковские дела, мечтая о будущем, слушая Библию, отчитывая Реджи за его грехи и с нетерпением ожидая дня, когда ему позволят ехать домой.

Но в один нестерпимо душный сентябрьский вечер он поднялся на постели, жадно глотая воздух, и обратился к Реджи:

– Мистер Бёрк, я умираю. Мне это ясно. В груди пустота, дышать нечем. Совесть не упрекает меня, – он вернулся к языку своей юности, – ни в каком дурном поступке. Слава Богу, я был избавлен от грубых проявлений греха, и советую и вам, м-р Бёрк...

У него пропал голос, и Реджи наклонился над умирающим.

– Отошлите моё жалованье за сентябрь матери... Много бы я сделал для банка, если бы остался в живых... Ошибочная политика... Но я не виноват...

Он отвернулся к стене и умер.

Реджи закрыл ему лицо простыней и вышел на веранду. В кармане его лежало последнее «возбуждающее умственную деятельность» письмо с выражением сожаления и утешения от директоров, которым он не успел воспользоваться.

«Приди я десятью минутами раньше, может быть, удалось бы поддержать его ещё на сутки», – подумал он.

«Поправка Годса»

Маменька Годса была очаровательной женщиной, и Годса знала вся Симла. Многим приходилось при случае спасать ему жизнь. Он уже вышел из-под опеки своей айя – няньки и каждый день подвергал свою жизнь опасности, желая, например, знать, какие будут последствия, если дёрнуть за хвост лошадь из горной батареи. Это был бесстрашный, ничего не признававший молодой человек, которому шёл седьмой год, единственный ребёнок, когда-либо нарушивший священное спокойствие высшего законодательного совета.

Случилось это следующим образом: любимый козлёнок Годса вырвался из конюшни и бросился в гору по дороге в Буалогендж. Годс гнался за ним, пока тот не повернул в парк вице-королевского дворца, составлявшего в то время часть «Петергофа». Совет заседал в это время, а окна были открыты, так как было тепло. Красный улан у крыльца сказал Годсу, чтобы он шёл прочь, но Годс знал лично красного улана и большинство членов совета. Кроме того, он уже ухватил козла за шиворот, и тот тащил его за собой по газону.

– Передайте мой селим высокому сахибу-советнику и попросите его помочь мне прогнать Моти домой! – запыхавшись, закричал Годс.

Члены совета услышали через открытые окна шум, и через несколько минут парк стал свидетелем невиданного зрелища: член совета и вице-губернатор, под непосредственным руководством главнокомандующего и вице-короля, помогли маленькому перепачканному мальчугану в матроске и с копной всклокоченных русых волос ловить резвого, непокорного козлёнка. Они загнали его в аллею, и Годс с триумфом отправился домой, где рассказал своей маменьке, как все сахибы-советники помогли ему ловить Моти. Маменька пожурела Годса за вмешательство в государственные дела, но Годс, встретившись на другой день с членом совета, конфиденциально сообщил ему, что если ему, члену совета, понадобится как-нибудь поймать козла, то он, Годс, готов оказать ему всякое содействие.

– Благодарю, Годс, – отвечал член совета.

Годс был божком целого штата ямпанисов и саисов. Он всех их называл «братцами». Ему и в голову не приходило, что какое-нибудь живое существо могло не повиноваться его приказаниям, и он всегда служил буфером между слугами и гневом мамыши. Вся работа этого хозяйства вертелась вокруг Годса, которого обожали все, начиная с дхоби и кончая псарём. Даже Футтах-Ханн, мошенник-бродяга из Мессури, и тот старался не возбуждать неудовольствия Годса из боязни, что товарищи не похвалят его за это.

Таким образом, Годс пользовался почётом на всем пространстве от Буалогенджа до Хото Симла и управлял своими владениями по своему усмотрению. Он, конечно, говорил на языке урду, но кроме того, обладал богатым запасом разных специальных выражений и вёл серьёзные разговоры с владельцами лавок, а также кули. Он был развит не по летам, а общение с туземцами открыло ему многие горькие истины в жизни, мелочность и грязь её. Сидя за чашкой молока с хлебом, он обыкновенно произносил торжественные и серьёзные афоризмы, переводя их с местного на английский язык, чем заставлял мамашу вскакивать и заявлять, что Годса пора отправить на лето в Англию.

Как раз в то время, когда Годс был в расцвете сил, верховное законодательство выработало законопроект для предгорий, вместо действовавшего тогда закона. Это был не столь обширный, как Пенджабский земельный, законопроект, но тем не менее касающийся нескольких сот тысяч людей. Член совета сочинял, делал ссылки, выводил всякие узоры и исправлял проект, пока на бумаге он не стал великолепно смотреться. После этого совет начал вырабатывать «мелкие поправки». Как будто какой-нибудь англичанин, пишущий законы для туземцев, достаточно осведомлён, чтобы знать, какие пункты в каком-либо законе важные и какие второстепенные с туземной точки зрения. Этот законопроект был торжеством «охраны интересов

арендаторов». Один параграф гласил, что земля не должна отдаваться в аренду больше, чем на пятилетний срок, потому что, если владелец земли отдаст её в аренду на более продолжительный срок, положим, на двадцать лет, он выжмет из арендатора все соки. Имелось в виду, что это позволит сохранить в предгорьях класс независимых землевладельцев, и с политической точки зрения взгляд этот был правильным. Единственное возражение, которое можно было сделать против законопроекта, – это, что он был совершенно неподходящим. Жизнь туземца-индуса всегда тесно связана с жизнью его сына. Поэтому совершенно неприемлем закон, имеющий в виду только одно поколение. Довольно курьёзно, что иногда туземцы, особенно в Северном Индостане, терпеть не могут, когда их чересчур охраняют от них же самих. Существовало некогда селение туземцев нага, которые питались мёртвыми и зарытыми комиссариатскими мулами... Но это уже другая история.

По многим причинам, которые поясним позже, население было недовольно законопроектом. Туземный член совета знал о пенджабцах столько же, сколько о Чаринг-Кроссе. Он сказал в Калькутте, что «проект вполне согласуется с желаниями этого многочисленного класса земледельцев», и т. д., и т. д. Познания члена совета о туземцах ограничивались знакомством с несколькими говорившими по-английски туземными сановниками и собственным красным чапрасси. Предгорья никого особенно не интересовали; комиссары-депутаты были слишком запуганы, чтобы возражать, да и мера касалась только мелких арендаторов. Тем не менее член совета желал, чтобы проект его был пригоден, потому что он был щепетильно добросовестный человек. Он не знал, что никто не может доподлинно узнать взглядов туземцев, пока не сойдётся с ними запросто. Да и в этом случае далеко не всегда. Но он постарался сделать работу как можно лучше. И проект поступил в высший совет на окончательное рассмотрение в то время, как Тодс совершал ежедневные утренние поездки на Бурра-базар в Симле, играл с обезьяной бунниа Дитта-Муллы и прислушивался, как умеют прислушиваться дети, ко всем разговорам по поводу новой «выдумки» лорда-сахиба.

Однажды был большой обед у маменьки Тодса; приехал также и член совета. Тодса уложили в кровать, но он не засыпал; когда же услышал смех мужчин за кофе, то встал и направился в своём красном фланелевом халатике и ночной рубашке в столовую и примостился около отца, зная, что тот его не прогонит.

– Вот вам одно из удовольствий иметь семью, – сказал отец, давая Тодсу три сливы и наливая воды в стакан, где был кларет, и приказав сидеть смирно.

Тодс медленно сосал сливы, зная, что его отошлют, когда они будут съедены, и отхлёбывал роковую водицу, как светский человек, а сам прислушивался к разговору. Вдруг член совета упомянул в разговоре с начальником какого-то ведомства о законопроекте, произнеся его полное название: «Пересмотренное постановление о риотвари предгорных местностей». Тодс поймал одно туземное слово и, возвысив свой тоненький голосок, сказал:

– Ах, я знаю все об этом. А он уже муррамутед, советник-сахиб?

– Как это? – спросил член.

– Муррамутед – исправлен. Приложите тхекс – постарайтесь сделать приятное Дитта-Муллу.

Член совета встал и сел рядом с Тодсом.

– Что же вы знаете о риотвари, маленький человечек?

– Я не маленький человечек. Я Тодс и все знаю. Дитта-Мулл, и Когао-Лалл, и Амир-Нат, и целая тысяча моих друзей рассказывали мне об этом на базаре, когда я говорил с ними.

– Да, вон как? Что же они говорили, Тодс?

Тодс подобрал ноги под свой красный халатик и сказал на туземном наречии:

– Дайте припомнить.

Член совета терпеливо подождал. Тодс начал с сожалением в голосе:

– Вы не говорите по-нашему, советник-сахиб?

– К сожалению, должен признаться, что нет, – отвечал член совета.

– Ну хорошо, – решил Тодс, – буду объяснять по-английски.

Он с минуту приводил свои мысли в порядок и начал очень медленно, переводя с местного наречия на английский, как многие английские дети, родившиеся в Индии. Напоминаю, что член совета помогал ему вопросами, если он запинался, и, конечно, Тодс не мог бы произнести связно следующей речи:

– Дитта-Мулл говорит: «Это детские речи, и выдумали их дураки». Только я не думаю, чтобы вы были дурак, советник-сахиб, – поспешно прибавил Тодс. – Вы поймали моего козла. Так вот, Дитта-Мулл говорит: «Я не дурак, и зачем сиркар говорит, что я ребёнок. Я могу видеть, хороша ли земля и хорош ли её хозяин. Если я дурак, так грех – мой. Беру я на пять лет землю, беру и жену, и родится у меня сынок». У Дитта-Мулла теперь только одна дочка, только он говорит, что скоро будет и сын. «А через пять лет, по этому новому закону, я должен уходить. Если не уйду, надо брать новые печати и таккус – гербовые марки на бумагу, и это может случиться в самую жатву. Сходить в присутственное место один раз – хорошо, но ходить два раза – иеханул, безумие». И это правда, – серьёзно пояснил Тодс. – Все мои знакомые говорят это. А Дитта-Мулл говорит: «Все новые марки, да плати вакилям и чапрасси, да ходи в разные суды каждые пять лет, а то помещик прогонит. А какая мне надобность ходить? Разве я дурак? Если я дурак и, прожив на свете сорок лет, не умею сказать, хороша ли моя земля, так мне и жить нечего. Ну а вот если новый закон скажет пятнадцать лет, это будет и хорошо и мудро. Мой маленький сын вырастет, а я состарюсь, и он возьмёт эту землю или другую, заплатив всего один раз за марки на бумаге. Только дикк – хлопоты. Мы – не молодые люди, чтобы брать эти земли, а старики не фермеры, а рабочие с небольшой деньгой, и пусть нас оставят в покое на пятнадцать лет. Не дети мы, чтобы сиркар так обращался с нами».

Здесь Тодс вдруг замолчал, видя, что все сидящие за столом слушают. Член совета спросил:

– Это все?

– Все, что могу припомнить, – ответил Тодс. – А вот посмотрели бы вы на большую обезьяну Дитта-Мулла, ну точь-в-точь какой-нибудь советник-сахиб.

– Тодс, ступай спать, – приказал отец.

Тодс подобрал полы своего халатика и удалился.

Член совета ударил кулаком по столу, говоря:

– Клянусь, мне кажется, мальчик прав! Такая короткая аренда – слабый пункт.

Он ушёл рано, раздумывая о том, что сказал Тодс. Очевидно, что члену совета невозможно было играть с обезьяной бунниа, чтобы добиться взаимного понимания, но он сделал лучше. Он собирал справки, постоянно помня, что настоящий туземец робок, как жеребёнок, и мало-помалу ему удалось добиться ласковым обращением от нескольких человек, наиболее заинтересованных в деле, чтобы они высказали свои взгляды, которые сходились весьма близко с показаниями Тодса.

Таким образом, в этот параграф законопроекта была внесена поправка, а у члена совета явилось подозрение, что туземные члены только и имеют значение как носители орденов, украшающих их грудь. Но он старался отогнать эту мысль, как не либеральную. Он был человек очень либеральный.

Через некоторое время по базару пронёсся слух, что законопроект пересмотрен благодаря Тодсу, и если бы не вмешательство маменьки, то он непременно бы заболел, лакомясь фруктами, фисташками, кабульским виноградом и миндалём, целые корзины которых загромождали веранду. До самого своего отъезда в Англию Тодс стоял в народном мнении выше вице-короля. Только он своим детским умом не мог постичь почему.

В ящике же с бумагами члена совета до сих пор хранится черновик «Изменённого закона о риотвари предгорий», и против 22-го параграфа – пометка синим карандашом, сделанная рукой члена совета: «Поправка Тодса».

Бегство белых гусар

Очень многие убеждены, что полк английской кавалерии не может обратиться в бегство. Это ошибка. Я видел самолично, как четыреста тридцать семь гусар в постыдной панике мчались по равнине; я видел, как лучший полк был вычеркнут из списка армии в каких-нибудь два часа. Если вы напомним об этом Белым Гусарам, то, по всей вероятности, они жестоко поступят с вами: они не гордятся тем, что случилось.

Белых Гусар сразу можно узнать по их саблям, которые больше, чем сабли в каком-либо другом полку. Если и этого отличия недостаточно, то можно узнать их по их старой водке. Вот уже шестьдесят лет она не переводится в офицерском собрании и стоит того, чтобы её отведать. Спросите старой водки «Мак-Геро» и тотчас же получите её. Если унтер-офицер, служащий в офицерском собрании, заметит, что вы невоспитанны, что чистейший напиток пропал зря, он отнесётся к вам снисходительно, он человек добрый. Но за офицерским обедом – молчок о форсированных маршах и верховой езде: собрание весьма щепетильно на этот счёт, и если усмотрит в ваших словах глумление, то разговаривать с вами не станет.

Как говорят Белые Гусары, это была вина их полкового командира. Он был новичок в полку и не должен был брать команду в свои руки. Он заявил, что солдаты плохо обучены... Это Белые Гусары-то, полагавшие, что они могут пройти и огонь и воду! Это было оскорбление, и оно послужило первым поводом к возмущению.

Затем полковник забраковал лошадь тамбур-мажора Белых Гусар. Впрочем, может быть, вы и не представляете себе, какое тяжкое преступление он совершил. Душа всего полка заключена в этой лошади. Она – обычно это рослый пегий жеребец – носит серебряные литавры. Она для полка – вопрос чести. Полк потратит на неё все что угодно. Она не подлежит закону об отставке. Её работа очень легка – она выступает только шагом. А потому, пока она ещё может выступать, пока она ещё не утратила своей красоты, её благополучие обеспечено. Она знает полк лучше, чем сам адъютант, она непогрешима.

Лошади тамбур-мажора Белых Гусар было только восемнадцать лет, и она прекрасно исполняла свои обязанности. По крайней мере, ещё шесть лет она могла работать в полку, и она с полным достоинством носила свой титул. Полк заплатил за неё 200 рупий.

Но полковник приказал её убрать, и это было сделано. Её заменил невзрачный конь гнедой масти, похожий на мула, с овечьей шеей, крысиным хвостом, с ногами, как у коровы. Барабанщик возненавидел его, а лошади музыкантов прижимали уши и сверкали на него белками глаз. Я думаю, что мысли полковника о плохой обученности полка распространялись и на музыкантов и что он хотел их заставить принимать участие в обыкновенных парадах. Кавалерийский оркестр – вещь священная. Он присутствует на парадах только в торжественных случаях, и капельмейстер стоит ступенью выше полковника. Он – верховный жрец, и «равняйся» – его священный гимн. И тот, кто никогда не слышал звуков этого гимна, пронзительных и высоких, слышных даже сквозь бряцанье шествующего полка, тот многого не слышал, многого не ведаёт. Когда полковник дал отставку лошади тамбур-мажора Белых Гусар, в полку вспыхнул чуть ли не настоящий бунт.

Офицеры сердились, кавалеристы неистовствовали, музыканты бранились, как простые рядовые. Продать лошадь тамбур-мажора с аукциона, с публичного торга, чтобы её купил какой-нибудь парс и запряг в телегу! Это было хуже, чем выставить всему свету всю подноготную полка, хуже, чем продать еврею, чёрному еврею, посуду из офицерского собрания!

Полковник был низкий человек и к тому же задира: он знал, как отнесётся полк к такому аукциону, и, когда кавалеристы предложили сами купить лошадь тамбур-мажора, он сказал, что подобное предложение противозаконно.

Но один из субалтернов – ирландец Гоган Яль – купил лошадь тамбур-мажора за 160 рупий. Полковник пришёл в ярость. Яль просил прощения, это был невероятно кроткий человек, говорил, что купил лошадь только затем, чтобы избавить её от дурного обращения, которому она подвергнется, и от голода, и что он застрелит её. Казалось, это успокоило полковника, так как он велел ему отдать лошадь тамбур-мажора. Он чувствовал, что сделал ошибку, но признаться в ней, конечно, не хотел; присутствие же лошади раздражало его.

Яль выпил стакан старой водки, взял три сигары и Мартина, своего друга, и оба вместе вышли из собрания. Целых два часа Яль совещался с Мартином у себя на квартире, но только бультерьер, который стережёт сапожные колодки Яля, знает, о чем они говорили.

Лошадь, закутанную и завёрнутую вплоть до ушей, вывели из конюшни и против воли увели далеко от лагеря. С ней пошёл грум Яля, а друзья пробрались в полковой театр и забрали там несколько жестянок с краской и кисти. И когда наступила ночь, в конюшне Яля слышался такой шум, словно его собственный конь – старый огромный белый жеребец хотел разнести ударами копыт свои ясли.

На другой день был четверг, и кавалеристы, узнав, что Яль ушёл стрелять лошадь тамбур-мажора, решили устроить ей настоящие полковые похороны, наверное, много лучше тех, которые устроили бы они полковнику, умри он теперь. Они раздобыли телегу, брезент и целый ворох роз, и труп лошади, накрытый этим брезентом, был отвезён на то место, где сжигались трупы животных, павших от заразной болезни. Две трети всего полка следовали за телегой. Музыкантов не было, но все пели хором гимн, посвящённый павшей старой лошади, подходивший к данному случаю. Когда труп опустили в землю и кавалеристы стали бросать на могилу розы, чтобы усыпать весь труп, коновал выругался вслух:

– А ведь лошадь-то эта так же похожа на лошадь тамбурмажора, как я на неё.

Унтер-офицер спросил, не пропил ли он в кабаке и свою голову? Коновал ответил, что знает ноги лошади тамбур-мажора не хуже своих ног. Но замолчал, когда увидел на закованной ноге её, обращённой к ним, полковое тавро.

Итак, лошадь Белых Гусар была похоронена. Коновал ворчал: брезент, покрывавший труп, был запачкан в некоторых местах краской, и он заметил это. Но унтер-офицер грубо ткнул его в скулу, сказав, что он не иначе как пьян.

В следующий за похоронами понедельник полковник отомстил Белым Гусарам. Будучи как раз в это время главным начальником, он отдал распоряжение о бригадном учении. Он сказал, что «проманежит полк до пота за его проклятое нахальство», и выполнил своё обещание как нельзя лучше. Этот понедельник оставил у Белых Гусар самое неприятное воспоминание. Они бросались на воображаемого врага, скакали то вперёд, то назад, слезали с лошадей и спешивались, словом, проделывали всевозможные вещи, и все это на пыльной равнине, обливаясь потом. Радость пришла потом, в тот же вечер, когда они напали на конную артиллерию и гнали её две мили. Но это был личный вопрос, и у большинства кавалеристов были свои счёты.

Артиллеристы говорят открыто, что Белые Гусары бежали от них. Они не правы. Парадный марш закончил эту кампанию, и, когда полк вернулся в лагерь, солдаты были покрыты пылью от шпор до подбородка.

Белые Гусары имели одно большое и совсем особенное преимущество. Мне кажется, они приобрели его ещё при Фонтенуа.

Многие полки обладают особым правом: в известные дни, например, носить воротники вместе с вицмундиром, бант на плечах, красные или белые розы на шлеме. Такое право обычно связано или со святым, которого почитает известный полк, или с каким-либо успешным делом, совершённым полком. Это право ценится очень высоко. Но превыше всего Белые Гусары ставили своё право ездить на водопой под звуки оркестра. Играется одна и та же неизменная песня. Я не знаю её настоящего названия, но Белые Гусары зовут её так: «Возьми меня в Лон-

дон опять». Она очень приятная. Полк скорее согласится быть вычеркнутым из регламента, чем отказаться от этого отличия.

После того как прозвучал отбой, офицеры поехали домой, чтобы отдать лошадей в конюшни, а солдаты, сохраняя ещё строевой порядок, вольно проезжали лошадей, т. е. расстегнули тугие мундиры, сняли шлемы, шутили или бранились, смотря по настроению. Кто был позаботливее, соскакивал с лошади и отпускал подпруги и мундштук. Хороший кавалерист ценит свою лошадь, как самого себя, и полагает, или, по крайней мере, должен полагать, что оба вместе они неотразимы, идёт ли дело о мужчинах или женщинах, девушках или ружьях.

Затем дежурный офицер отдал приказ: «На водопой!» И полк тронулся к эскадронным корытам, находившимся между конюшнями и казармами. Всего было четыре корыта, по одному для каждого эскадрона, устроенных так, что весь полк, если бы хотел, мог напоить лошадей за десять минут; обычно же водопой длился семьдесят минут, и музыканты играли все это время.

Оркестр заиграл, лишь только эскадроны растянулись вдоль корыт. Кавалеристы один за другим слезали с коней. Солнце садилось в большом огненно-алом облаке, и дорога, уходившая на закат, казалось, бежала прямо на этот огромный глаз – солнце. Но вот на дороге показалась какая-то точка. Она все росла и росла, пока не превратилась в подобие лошади с чем-то вроде рашнера, сидящим на её спине. Огненное облако сверкало сквозь планки рашнера. Некоторые кавалеристы посмотрели из-под руки и сказали:

– Что это за чудовище на спине у лошади?

А через минуту послышалось ржанье, которое знала каждая душа в полку – человечья и лошадиная, – и все увидели несущуюся во всю прыть прямо к оркестру похороненную лошадь тамбур-мажора Белых Гусар.

У неё на загривке трепались и хлопали завёрнутые крепом литавры, а на спине браво, по-солдатски, сидел скелет с голым черепом.

Музыка смолкла, воцарилось недолгое молчание.

Затем кто-то – солдаты говорили, что это был унтер-офицер из роты Е – закричал и повернул свою лошадь. Никто не скажет в точности, что было потом. По-видимому, в каждой роте нашёлся такой же кавалерист, заразивший других, последовавших за ним, как стадо баранов, своим ужасом. Лошади, только что всунувшие морды в корыта, отпрянули и взвились на дыбы. Но лишь только сорвались музыканты, а они сделали это, когда призрак лошади тамбур-мажора был на расстоянии версты, все ринулись за ними, и ужасный крик, отличный от обычного волнения и шума на параде или грубых шуток на водопое или в поле, напугал их ещё больше. Они почувствовали, что люди, сидящие на их спинах, чего-то испугались. А раз лошади поняли это, дело может кончиться бойней.

Эскадрон за эскадронам поворачивал от корыт и кидался куда попало, словно рассыпавшаяся ртуть. Зрелище было ещё необыкновеннее потому, что как у кавалеристов, так и у лошадей все было распущено, и чехлы ружей, ударяясь о бока лошадей, приводили их в бешенство. Кавалеристы кричали и бранились, стараясь вырваться из толпы музыкантов, гонимых лошадью тамбур-мажора, всадник которой наклонился вперёд и, как бы состязаясь, прищпоривал лошадь.

Полковник пришёл в собрание, чтобы выпить, большинство офицеров были с ним, дежурный субалтерн собрался идти в лагерь, чтобы принять рапорт о водопое от унтер-офицера. Но когда «Возьми меня в Лондон опять» оборвалось на двадцать первом такте, все, бывшие в собрании, воскликнули: «Что-то случилось!»

Спустя мгновение все услышали какой-то шум, совсем не похожий на военный, и увидели Белых Гусар, рассеянно и беспорядочно несущихся вскачь по равнине. Полковник не мог вымолвить ни слова от бешенства, полагая, что полк или взбунтовался против него, или напился пьян до бесчувствия. Впереди рассеянной толпой скакали музыканты, а за ними по

пятам мчалась лошадь тамбур-мажора – павшая и похороненная лошадь тамбур-мажора – с подпрыгивающим, болтающимся скелетом. Гоган Яль тихо шепнул Мартину: «Теперь уж их ничем не удержишь». Музыканты, словно зайцы по своим следам, стали возвращаться в лагерь. Но остальной полк рассеялся и исчез: сумерки сгустились, и каждый кричал своему соседу, что его преследует лошадь тамбур-мажора. С кавалерийской лошадью обходятся очень нежно, но при случае она может сделать очень многое, кавалеристы убедились в этом.

Как долго продолжалась паника, я не могу сказать. Думаю, что только когда взошёл месяц, кавалеристы поняли, наконец, что бояться им нечего, и кучками по двое, по трое и полуротами поплелись в лагерь, весьма сконфуженные. Тем временем лошадь тамбур-мажора, отвергнутая своими старыми товарищами, остановилась, повернулась и побежала к собранию, к самой веранде, за хлебом. Никто не бежал от неё, но никто и не подходил к ней, пока полковник не схватил скелет за ногу. Музыканты, остановившиеся на некотором расстоянии, стали медленно подъезжать. Полковник ругал их в это время самыми отборными выражениями, которые только приходили ему в голову. Он взялся за грудь лошади тамбур-мажора и почувствовал живое тело. Тогда он ударил кулаком по литаврам и увидел, что они сделаны из бамбука и серебряной бумаги. Затем, все ещё ругаясь, он попытался стащить скелет с седла, но он был привязан проволокой к чурбану. Вид полковника, схватившего скелет руками и упиравшегося коленями в живот лошади, был поразительный, не скажу, чтобы приятный. Он стащил скелет через минуту или две и бросил на землю. «Вот, собаки, чего вы испугались!» – сказал он музыкантам.

Скелет в сумерках выглядел не очень красиво. Капельмейстер, видимо, узнал его, потому что начал хихикать и давиться смехом.

– Убрать прикажете его отсюда, сэръ? – сказал капельмейстер.

– Убрать! – сказал полковник. – Тащи его ко всем чертям, да и сам отправляйся туда же.

Капельмейстер отдал честь, перекинул скелет через седельную луку и двинулся к конюшне. Затем полковник начал допрашивать кавалеристов, и язык его был прямо-таки удивительный. Он рассказывает весь полк, предаст военному суду всех поголовно, откажется командовать подобной сволочью и т. д., и, по мере того как солдаты собирались, его выражения становились все грубее и грубее, пока, наконец, не дошли до крайнего предела, позволенного полковнику кавалерии.

Мартин отвёл Гогана Яля, поднял брови и заметил, что, во-первых, он сын лорда, а во-вторых, он невинен, как грудной младенец, в этом театральном воскрешении лошади тамбур-мажора.

– Я хотел, – сказал Яль с удивительно кроткой улыбкой, – вернуть в полк лошадь тамбур-мажора наиболее оглушительно. Но, спрашивается, ответствен ли я за то, что моему тупоумному приятелю вздумалось вернуть её так, что она возмутила душевный мир кавалерийского полка её величества?

Мартин сказал:

– Ты великий человек и непременно станешь генералом. Но я хотел бы совсем выйти из эскадрона, чтобы только избавиться от этого дела.

Провидение спасло и Мартина, и Гогана Яля. Ротмистр отвёл полковника в маленький занавешенный альков, где по ночам младшие офицеры Белых Гусар играли в карты, и там, после многих ругательств со стороны полковника, они тихо заговорили оба вместе. Я думаю, что ротмистр представил все происшествие делом рук какого-нибудь солдата, которого искать бесполезно. Я знаю, что он напирал на то, что и грешно и стыдно сделать из этого случая всеобщее посмешище.

– Нас назовут... – сказал ротмистр, обладавший действительно пылким воображением, – нас опозорят, дадут нам гадкие клички. Никакие доводы в мире не убедят всех, что офицеры не участвовали в бегстве. Ради чести полка, ради вас самих отнеситесь к этому спокойно.

Полковник до такой степени утомился от гнева, что успокоить его было уж не так трудно, как это могло казаться. Ласково и постепенно его заставили понять, что предать весь полк военному суду есть очевидная нелепость, а равно невозможно и обвинить, по одному только подозрению, какого-либо субалтерна, несомненно участвовавшего в этой выдумке.

– Но ведь лошадь жива. Никто и не думал стрелять её. Это дерзкое самоуправство. Я знаю случаи, когда солдаты несли строгую кару за меньшие провинности, гораздо меньшие. Это издевательство надо мной, понимаешь, Нутман, издевательство!

Ротмистр снова принялся успокаивать полковника и бился с ним целых полчаса, покуда не явился полковой вахмистр с рапортом. Положение его было щекотливое, но это был не такой человек, которого можно было чем-нибудь обескуражить. Он отдал честь и доложил:

– Полк весь вернулся, сэр.

И, чтобы задобрить полковника, прибавил:

– Ни одна лошадь не пострадала, сэр.

– Пойдите-ка лучше да уложите ваших героев в постель, да покараульте, как бы они не проснулись ночью и не стали кричать.

Сержант удалился. Эта шутка развеселила полковника, он почувствовал даже некоторое раскаяние в том, что позволил себе такую брань. Ротмистр не отстал от него, и они проговорили до поздней ночи.

Через день был парад, и полковник отчитал Белых Гусар. Суть его речи сводилась к тому, что раз лошадь тамбур-мажора даже при своей старости могла расстроить весь полк, то она должна вернуться на старое место во главе оркестра, но сам полк – шайка бессовестных проходимцев.

Белые Гусары закричали и стали бросать вверх все, что только было возможно, а когда парад кончился, они ликовали до тех пор, пока не охрипли. Но никто не выразил одобрения Гогану Ялю, который стоял позади и мягко улыбался.

Ротмистр сказал полковнику наедине:

– Такие происшествия, правда, вредят популярности полка, но дисциплину не подрывают.

– Но я изменил своему слову, – сказал полковник.

– Ничего, – ответил ротмистр. – Теперь Белые Гусары пойдут за вами на край света. Солдаты – те же женщины: все сделают за безделицу.

Неделю спустя Гоган Яль получил письмо от кого-то за подписью: «Секретарь Милосердия и Усердия, 3709, Э. Ц.» Он просил возвратить «наш скелет, который, по дошедшим до нас сведениям, находится у вас».

– Что ещё за черт нашёлся, который торгует костями! – воскликнул Гоган Яль.

– Простите, сэр, – сказал вахмистр. – Скелет у меня, и я возвращу его по принадлежности, если вы заплатите за подводу. При нем и гроб имеется.

Гоган Яль улыбнулся и вручил вахмистру две рупии, говоря:

– А число на черепе можно поставить, а?

Если вы сомневаетесь в правдивости этого рассказа, то можете сами отправиться в город и убедиться. Только не говорите об этом Белым Гусарам.

Я знаю это потому, что сам готовил лошадь тамбур-мажора к воскрешению. Она не очень дружелюбно относилась к скелету.

Ложный рассвет

Никто не узнает всей правды, хотя женщины передают эту историю шёпотом друг другу после бала, когда убирают на ночь свои косы и сравнивают списки своих жертв. Мужчины не могут, конечно, присутствовать при этом, а потому и те и другие толкуют её по-своему.

Никогда не хвали сестре сестру в надежде, что эти похвалы принесут тебе со временем выгоду. Сестры – прежде всего женщины, а потом уже сестры; ты этим только повредишь себе.

Сомарез знал это правило, когда решился сделать предложение старшей мисс Коплей. Он был странный человек, имел кое-какие достоинства, малозаметные для мужчин, зато среди женщин он был популярен. Он обладал умом, достаточным для того, чтобы снабдить им совет вице-короля и оставить немного для штаба главнокомандующего. Он придерживался передовых взглядов. Очень многие женщины интересовались им, быть может, потому, что он держался с ними оскорбительно высокомерно. Если вы щёлкнете пони по носу при первом знакомстве, то он, хотя и не будет любить вас, будет, однако, проявлять глубокий интерес ко всем вашим действиям. Старшая мисс Коплей была пухленькой, миленькой, очаровательной девушкой. Младшая была не так милостива, была высокомерна и неприятна. Обе девушки имели одинаковую фигуру, большое сходство между ними сказывалось также в глазах и в голосе. Однако всякий, ни минуты не колеблясь, отдал бы предпочтение старшей.

Как только девушки приехали из Бехэра на станцию, Сомарез решил жениться на старшей. По крайней мере, партия, как мы рассудили, была хорошая. Ей было двадцать два года, ему тридцать три. Доходы его вместе с жалованьем достигали четырехсот рупий в месяц. Решив, Сомарез составил избранный комитет, в котором сам был единственным членом, и начал выжидать удобного случая. На нашем не очень изящном языке говорилось, что девицы Коплей охотились парочкой; иными словами, они никогда не разлучались, и остаться наедине с какой-нибудь одной было невозможно. Правда, сестры были очень дружны, но такая дружба не всегда желательна. Сомарез сохранял строжайшее равновесие в отношениях с ними, и никто, кроме него самого, не мог сказать положительно, к которой из двух лежит его сердце, хотя каждый догадывался. Он много катался с ними верхом, танцевал, но остаться с какой-нибудь из них наедине ему не удавалось.

Женщины решили, что между девушками происходит соревнование; что одна боится победы другой. Но ведь это мнение женское, и оно не относится к мужчинам. Сомарез был чрезвычайно скрытен со всеми и каждым, деловито-внимателен, умел совмещать работу с игрой в поло. Но не было сомнения, что обе девушки были к нему равнодушны.

Когда стала приближаться жаркая погода, а Сомарез все-таки не делал решительного шага, женщины сказали, что в глазах девушек заметна тревога, что они взволнованы, беспокойны, раздражительны. Мужчины слепы в таких случаях, если, конечно, не обладают женским складом души. Я же утверждаю, что румянец со щёчек девушек похитил апрельский зной, а потому самое лучшее для них было бы поскорее уехать в горы. Никто, ни мужчина, ни женщина, не может быть ангелом, раз наступила жаркая погода. Младшая сестра стала держаться резче, не скажу, чтобы пикантнее; грациозность старшей стала ещё утонченнее.

Станция, служившая местом действия всех этих событий, хотя и довольно велика, стоит в стороне от железнодорожной линии, и поэтому терпит всяческие недостатки. Тут нет ни садов, ни оркестров, ни мало-мальски порядочных увеселительных мест, и тому, кто желал потанцевать, приходилось чуть ли не целый день тащиться в Лагор. А потому публика была благодарна за самое малое.

В самом начале мая, перед отъездом в горы, когда стало очень жарко и на станции осталось всего человек двадцать, Сомарез затеял устроить пикник при свете луны у старой гробницы, возле русла высохшей реки, в шести милях от станции. Такой пикник носит название

«Ноев ковчег». Из-за пыли надо было соблюдать известный порядок: пары едут на расстоянии четверти мили друг от друга. Подобные пикники при свете луны устраиваются перед отъездом девушек в горы; на них происходят объяснения, а потому кавалеры их одобряют, особенно же те из них, на которых девушки посматривают умильно.

Я знаю один случай... Впрочем, то совсем другая история. Этот пикник был назван «Грэт-Поп-Пикник», так как каждый из нас знал, что Сомарез решил сделать предложение старшей мисс Коплей; да и помимо этого, было и другое, что могло закончиться в этот вечер столь же счастливой развязкой. Душевная атмосфера участников этого пикника была тяжела и ждала очищения.

Мы встретились на плацу в десять часов; ночь была необычайно жаркая. Лошади вспотели, идя шагом, но все же на воздухе было лучше, чем в наших тёмных жилищах. Когда мы выезжали при свете полной луны, нас было четыре пары, затем Сомарез с двумя девушками Коплей и я, замешкавшийся в хвосте кавалькады, погруженный в раздумье о том, с какой из девушек Сомарез поедет рядом на обратном пути. Все были счастливы и довольны, но каждый чувствовал, что должно что-то случиться. Мы ехали медленно; около полуночи достигли мы старой могилы напротив пруда в заброшенном саду, где мы собирались выпить и закусить. Я запоздал и, подъезжая к саду, увидел на севере небосклона еле заметную полоску; однако никто не поблагодарил бы меня, если бы я сообщил об этом факте и отравил всем так хорошо обставленное удовольствие – ведь песчаная буря не может причинить особого вреда.

Мы собрались возле пруда. Кто-то захватил с собой банджо – этот нежнейший из музыкальных инструментов, – и три-четыре человека запели. Вы не должны глумиться над этим, развлечений на захолустных станциях не очень много. Затем мы стали беседовать, группами или все вместе, лёжа под деревьями, а с розовых кустов на наши ноги сыпались сожжённые солнцем лепестки, и беседовали так до самого ужина. Ужин был прекрасный, холодный, как лёд, какого только можно было желать; и мы воздали ему честь, надо сказать правду.

Я чувствовал, что воздух становится все горячее и горячее; но никто, казалось, не замечал этого, пока не спустилась луна и горячий воздух не стал хлестать апельсиновые деревья со звуком, подобным шуму моря. Прежде чем мы успели опомниться, песчаный ураган налетел, и все превратилось в ревушую, крутящуюся тьму.

Провизия наша полетела в пруд. Стоять возле старой могилы было опасно, так как можно было оказаться опрокинутым в воду. Мы ощупью пробрались к апельсиновым деревьям, где были привязаны наши лошади, и стали ждать, когда буря стихнет. Последний слабый свет исчез, и уже нельзя стало разглядеть собственной руки, поднесённой к самому лицу. Воздух был тяжёл, насыщен песчаной пылью из речного русла, которая набивалась за воротник, в сапоги, в карманы, покрывала брови и усы.

Это была одна из самых сильных песчаных бурь в этом году. Мы все сбились в кучу возле дрожащих лошадей, а гром грохотал над головой, и молния брызгала по всему небосклону, точно водные струи из шлюза.

Опасности, конечно, не было, пока не сорвались лошади. Я стоял, опустив голову, зажав рот рукой и слушая треск деревьев. Я не мог видеть, кто стоял возле меня, пока не вспыхнула молния; тут я понял, что нахожусь рядом с Сомарезом и старшей мисс Коплей, а моя лошадь стоит передо мной. Я узнал старшую мисс Коплей потому, что она имела на своём шлеме «парги», младшая же нет. Все электричество вошло в моё тело, и я весь трепетал и содрогался. Буря была очень сильная. Ветер, казалось, черпал песок и сваливал его в большие кучи; земля дышала жаром, подобным тому, который, говорят, будет в день страшного суда.

Буря стала стихать постепенно, через полчаса, и я услышал отчаянный голос у себя над ухом, говорящий сам с собой спокойно и тихо, точно потерянная душа носилась по ветру: «О Боже мой». Затем, наткнувшись на мои руки, младшая Коплей проговорила:

– Где моя лошадь? Приведите мою лошадь. Я хочу домой. Мне нужно домой. Мне нужно домой. Уведите меня.

Я подумал, что её напугали эти молнии и этот чёрный мрак, а потому сказал ей, что опасности нет и что она должна подождать, когда буря утихнет.

Она ответила:

– Не то. Совсем не то. Мне нужно домой. О, уведите меня отсюда!

Я сказал, что, пока не станет светло, ехать нельзя, но почувствовал, что она метнулась мимо меня. Было слишком темно, чтобы видеть что-нибудь. Но тут все небо распахнулось от дрожащего сполоха, точно настал конец мира, и женщины вскрикнули.

И почти тотчас же я почувствовал чью-то руку на моем плече и услышал вопль Сомареца около моего уха. Сквозь шелест деревьев и вой ветра я не мог сразу разобрать его слов, но наконец я расслышал, что он говорит:

– Я поступил некорректно. Что мне делать?

Сомарез не мог сделать подобного признания мне: я никогда не был его другом, ни прежде, ни теперь; впрочем, мы все тогда были сами не свои. Он весь дрожал от возбуждения, я же чувствовал себя очень странно от электричества. Я не мог придумать ничего иного, как сказать ему:

– Это безумие – делать предложение в такую бурю.

Однако я понимал, что это не поможет. Тогда он закричал:

– Эдита была младшая сестра.

Я возразил, крайне удивлённый:

– Где Эдита?.. Эдита Коплей?..

– Что вы хотите делать?

И в течение следующих минут мы кричали друг на друга, как маньяки; он клялся, что имел намерение сделать предложение именно младшей, а я до хрипоты доказывал, что он, должно быть, ошибся. Я объясняю это только тем, что мы были тогда вне себя. Все казалось мне каким-то дурным сном от топота лошадей в темноте до Сомареца, поверяющего мне историю своей любви к Эдите с момента её возникновения. Он все ещё не выпускал моего плеча и упрашивал меня сказать ему, где Эдита Коплей, когда вторично наступило затишье, принёсшее с собой свет, и мы увидели на равнине песчаную тучу. Теперь мы знали, что самое страшное позади.

Месяц зашёл, и разлилось мерцание ложной зари, которая бывает часом раньше настоящей. Но свет её был очень слаб, а тёмная туча ревела, точно бык. Я удивлялся, куда пропала Эдита, и пока удивлялся, то увидел три явления разом: сперва из темноты выступило улыбающееся личико Магдалины Коплей, и оно двинулось к Сомарезу, стоявшему рядом со мной. Я слышал, как девушка прошептала: «Дон Жорж», и её рука скользнула по руке, державшейся за моё плечо, и я увидел на этом лице тот взгляд, который бывает раз или два за всю жизнь женщины – когда женщина вполне счастлива, когда воздух полон трубных звуков, когда все горит ярким светом, когда небо распахнуто, ибо она любит и любима. В ту же минуту я увидел лицо Сомареца, прислушивающегося к голосу Магдалины Коплей, а в пятидесяти шагах от апельсиновой рощицы коричневое голландское платье девушки, садящейся на лошадь.

Должно быть, моё душевное состояние сделало то, что я так живо вмешался в дело, которое меня нисколько не касалось. Сомарез двинулся по направлению к этому платью, но я оттолкнул его, говоря: «Стойте и объяснитесь. Я верну её назад».

И я бросился к своей лошади. Я считал, что все должно быть сделано благопристойно и по порядку и что первой заботой Сомареца должно было быть уничтожение счастливого взгляда на личике Магдалины Коплей. И все время, пока я укреплял мундштук, я раздумывал, каким образом Сомарез мог это сделать.

Я пустил лошадь лёгким галопом вслед за девушкой, надеясь вернуть её под тем или другим предлогом. Но, завидев меня, она поскакала, и мне пришлось прибавить рыси. Она крикнула два или три раза через плечо: «Отстаньте! Я еду домой! Отстаньте же!» Но моё дело было сперва схватить её, а потом уже разбирать причины. Наша скачка дополнила это дурное сновидение. Почва была очень плоха, и мы неслись среди удушающих песчаных вихрей, этих «бесов», сопровождающих мятущуюся бурю. Затем подул горячий ветер, принося с собой зловонные испарения, и в этом полусвете, сквозь песчаные вихри, на этой пустынной равнине мерцало коричневое голландское платье на серой лошади. Сперва она скакала к станции, потом повернула и понеслась по джунглям к реке, по слою сожжённой травы, через которую даже кабан с трудом продирался. В здравом уме и твёрдой памяти я никогда не отважился бы пуститься в путь по таким местам ночью, но теперь все казалось естественным под этими молниями, сверкавшими над головой, в этих удушливых испарениях адских бездн.

Я скакал и кричал, а она, наклонившись к луке, хлестала свою лошадь, и песчаный вихрь настиг нас и погнал, словно клочки бумаги.

Я не знаю, долго ли мы ехали, но дробный звук лошадиных копыт, рёв ветра, бег кроваво-красной луны в жёлтом тумане, казалось мне, длились без конца, и я был буквально облит потом от шлема до гетр, когда серая лошадь споткнулась, шарахнулась и остановилась совсем, охромевшая. Мой конь тоже выбился из сил. Эдита находилась в жалком состоянии, была вся облеплена пылью, потеряла свой шлем, горько плакала.

– Почему вы не хотите оставить меня одну? – промолвила она. – Я хотела только уехать домой. Умоляю вас, оставьте меня.

– Вы должны вернуться, мисс Коплей. Сомарез хочет вам что-то сказать.

Глупо было уговаривать её таким образом, но я почти не знал её и не мог ей передать в сухих выражениях то, что сказал мне Сомарез. Я полагал, что лучше это сделать ему самому. Все её страстное желание поскорее ехать домой пропало, и она покачивалась, сидя в седле, и всхлипывала, между тем как горячий ветер сдувал набок её чёрные волосы.

Я не хочу повторять того, что она говорила мне, так как она тогда была не в себе.

И это была гордая мисс Коплей. Она позволила мне, человеку совсем ей чужому, убеждать себя, что Сомарез любит её и что она должна вернуться и выслушать его признания. Я решил, что достиг своей цели, так как она села на свою хроную лошадь и, спотыкаясь, кое-как мы поплелись к старой могиле, между тем как гремящая туча свалилась на Умбаллу, уронив на нас несколько крупных и тёплых капель дождя. Я предполагал, что она стояла близко к Сомарезу, когда тот делал предложение её сестре, и, как истая англичанка, хотела в тишине выплакать свои слезы. Она дотрагивалась до глаз носовым платком, пока мы ехали, и болтала со мной простодушно и спокойно. Это было совсем не натурально, и, однако, это казалось вполне естественным в то время и в той обстановке. Весь мир сосредоточился на двух девушках Коплей, Сомарезе и мне, объятых молниями и тьмою; и руководство этим хаотическим миром, казалось, лежало на мне.

Мы вернулись к могиле в глубоком мёртвом молчании, последовавшем за бурей; заря только что занималась, и никто ещё не уехал, все ожидали нашего возвращения, а сам Сомарез больше всех. Его лицо было бледно и осунулось. Когда мисс Коплей и я дотащились до них, он пошёл к нам навстречу и, помогая девушке слезть с седла, поцеловал её при всех присутствующих. Эта сцена очень походила на театральную, причём сходство увеличивалось белыми от пыли, призрачными фигурами мужчин и женщин, которые, стоя под апельсиновыми деревьями, аплодировали Сомарезу, словно по окончании театральной пьесы. Я никогда не видел ничего до такой степени не свойственного англичанам.

Затем Сомарез сказал, что нам следует возвратиться, иначе вся станция всполошится и пошлёт нас разыскивать, и не буду ли я так любезен поехать домой с Магдалиной Коплей. Я ответил, что это доставит мне большое удовольствие.

Мы распределились попарно и тронулись; Сомарез шёл сбоку Эдиты, которая ехала на его лошади.

Воздух прояснялся, и мало-помалу, по мере того, как всходило солнце, я чувствовал, что мы все становились обыкновенными людьми и что «Грэт-Поп-Пикник» был чем-то потусторонним, сверхъестественным. Он исчез вместе с песчаным ураганом и трепетом горячего воздуха.

Я чувствовал себя усталым, разбитым и сильно сконфуженным, пока не приехал домой, не принял ванну и не лёг в постель.

Существует и женская версия этого рассказа, но она никогда не будет написана... разве только Магдалина Коплей займётся этим.

«Бизара из Пури»

Некоторые туземцы говорят, что её привезли с того склона Кулу, где стоит одиннадцатидюймовый храм Сапхир. Другие утверждают, что она была сделана в дьявольском хранилище Ао-Чунга в Тибете, была украдена кафиром, у него – гуркасом, у того, в свою очередь, – лагули, а у этого – кхитмагаром, который, наконец, продал её англичанину, и, таким образом, уничтожилось все её значение, потому что «бизара из Пури» должна быть украдена, по возможности с кровопролитием, но, во всяком случае, украдена.

Все эти рассказы о том, как эта святыня попала в Индию, неверны. Она была сделана в Турции много веков тому назад, и о её работе можно было написать целую книгу. Потом она была украдена одной баядеркой для себя лично, и затем переходила из рук в руки, постепенно продвигаясь к северу, пока не попала в Ханлэ, постоянно сохраняя своё название «бизара из Пури».

Внешне – это маленький квадратный серебряный ящичек, украшенный восемью небольшими бледными рубинами. Внутри ящичка, открывающегося посредством пружинки, лежит маленькая безглазая рыбка, выточенная из глянцевитой скорлупы какого-то тёмного ореха и завёрнутая в лоскуток поблекшей золотой парчи. Вот что такое «бизара из Пури».

Все виды колдовства теперь вышли из употребления и заброшены повсюду, кроме Индии, где ничто не изменяется, несмотря на блестящую, снимающую со всего пенки затею, называемую «цивилизацией». Всякий, знающий, что такое «бизара из Пури», скажет вам, какой силой она обладает, если только украдена честным образом. Это единственный действительно надёжный талисман, с помощью которого можно приворожить человека.

Если «бизара» не украдена, но подарена, куплена или найдена, она в течение трех лет действует против своего обладателя и ведёт к его смерти или гибели. Это ещё факт, над объяснением которого можете подумать на досуге. А пока можете и посмеяться над ним. В настоящее время «бизара» находится в сохранности на шее извозчичьей лошади, внутри ошейника из голубых бус, предохраняющего от «сглаза». Если извозчик когда-нибудь найдёт талисман и сам наденет на себя или отдаст жене, то мне будет жаль его.

В 1884 году «бизарой» владела грязная женщина-кули, с зобом, в Теоге. Талисман попал в Симлу с севера; здесь его купил кхитмагар Чертона и продал его, взяв тройную цену за серебряный ящичек, Чертону, собиравшему редкости. Слуга знал о своей покупке не больше, чем его господин, но один человек, рассматривавший коллекцию Чертона, – кстати сказать, Чертон был правительственным комиссаром – узнал вещь, но придержал язык. Он был англичанин, но знал, что значит верить. Ему было известно, как опасно иметь какое-нибудь отношение к маленькому ящичку, обращаясь к нему за помощью или просто владея им, потому что любовь, которой не ищешь, – ужасный дар.

Пак – «Пак-карапуз», как мы прозвали его – был некрасивый человек, попавший в армию, вероятно, по недоразумению. Он был всего дюйма на три выше своей сабли, но далеко не так крепок. А сабля была чуть ли не игрушечная и стоила пятьдесят шиллингов. Никто не любил Пака, и я думаю, что именно его собственная мизерность и ничтожество были причиной тому, что он так безнадежно влюбился в мисс Холлис, добрую, кроткую девушку ростом в пять футов семь дюймов в башмаках без каблуков. Он полюбил её не спокойно, а внёс в своё чувство всю горячность, на какую был способен его тщедушный организм. Будь он несколько более симпатичен, его можно бы было пожалеть. Он потел, суетился, пыхтел и бегал взад и вперед, стараясь показаться приятным для больших, спокойных глаз мисс Холлис, но все было напрасно.

Этому всему вы поверите. А чему не поверите, так это следующему: Чертон и один сведущий человек, знавший о чудодейственных свойствах «бизары», завтракали вместе в клубе

в Симле. Чертон жаловался на жару вообще. Его лучшая кобыла вырвалась из стойла, свалилась с обрыва и сломала спину; высшие инстанции отменяли все его распоряжения чаще, чем вправе ожидать комиссар, состоящий в этой должности уже восемь лет; он познакомился с болезнью печени и лихорадкой и уже несколько недель чувствовал себя не в своей тарелке. Все ему надоело и опротивело.

Как известно, столовая клубы в Симле состоит из двух залов, соединённых аркой. Войдя и заняв место у окна налево, вы не увидите никогда вошедшего и занявшего стол по правую сторону от арки. Интересно, что каждое сказанное вами слово слышно не только обедающим за противоположным столом, но и слугам за перегородкой, из-за которой приносят кушанье. Это следует запомнить; комнаты, в которой есть эхо, следует остерегаться.

Полушутя-полусерьёзно сведущий человек сообщил Чертону историю «бизары из Пури» гораздо подробнее, чем я рассказал её вам, и, наконец, посоветовал Чертону бросить ящичек с холма вниз и посмотреть, не окончатся ли на этом все его неудачи. Для обычного слушателя, англичанина, рассказ был не более как интересным народным преданием, и Чертон засмеялся, говоря, что после завтрака чувствует себя лучше. Потом он ушёл. Пак завтракал один, справа от арки, и слышал все. Он с ума сходил от любви к мисс Холлис, над чем смеялась вся Симла.

Любопытно, что человек, слепо любящий или ненавидящий, готов на всевозможные безумства, лишь бы удовлетворить своё чувство; что он решается на такие вещи, на которые никогда бы не пошёл ни ради денег, ни ради честолюбия. Пак на другой день отправился к Чертону, когда Чертона не было дома, оставил карточку и украл «бизару» с её места под часами на камине. Украл вполне соответственно своей воровской натуре. Через два-три дня вся Симла, как электрической искрой, была потрясена известием, что мисс Холлис приняла предложение. Предложение этой сморщенной крысы – Пака. Надо ли вам ещё более явное доказательство того, что «бизара из Пури» оказала своё действие, как оказывала она всегда, когда бывала добыта нечистым путём.

В жизни каждого человека бывают случаи, когда его можно оправдать в том, что он вмешивается в жизнь другого, разыгрывая роль провидения.

Сведущий человек чувствовал, что у него есть оправдание, но полагать и действовать на основании предположения – вещи совершенно различные. Но вид Пака, торжественно выступавшего рядом с мисс Холлис, и изумление Чертона заставили сведущего человека решиться. Он рассказал все Чертону, но Чертон только засмеялся, совершенно отказываясь верить, что люди, состоящие на государственной службе, могли украсть, хотя бы даже какую-нибудь мелочь. Но изумительное согласие мисс Холлис на предложение замухрышки Пака побудило его принять некоторые меры по раскрытию кражи.

Он уверял, что желает только знать, куда мог деваться его ящичек, украшенный рубинами. Нельзя же прямо обвинить человека, состоящего на государственной службе, в краже, а если вы вторгнитесь в его комнату, то сами станете вором. Однако Чертон, подстрекаемый сведущим человеком, решился на такой шаг.

Если он не найдёт ничего в комнате Пака, то... но неприятно и подумать, что могло бы произойти в таком случае.

Пак отправился на танцевальный вечер в Бенмор и протанцевал пятнадцать вальсов из двадцати двух с мисс Холлис. Чертон со сведущим человеком, захватив все ключи, какие только могли собрать, отправились в комнату Пака в гостинице, уверенные, что слуг не будет дома. Пак был скупец. У него даже не было порядочного ящика для бумаг, он их хранил в простой коробке, подделке под местные изделия, которую вы купите где угодно за десять рупий. Её можно было отпереть каким угодно ключом, и в ней на дне, под страховым полисом Пака, оказалась «бизара».

Чертон выругал Пака, положил ящичек к себе в карман и отправился вместе со сведущим человеком на танцевальный вечер. Он попал как раз к ужину и прочёл в глазах мисс Холлис начало конца. После ужина с ней сделался истерический припадок, и её увезла домой мамаша.

Танцуя с проклятой «бизарой» в кармане, Чертон растянул ногу и, ворча, вынужден был уехать домой. Однако этот случай ещё не заставил его поверить в «бизару». Он отправился к Паку, прямо в лицо обругал его разными словами, из которых «вор» было самое мягкое. Пак выслушал оскорбления с нервным смехом человека, которому ни храбрость, ни физическая сила не позволяют обидеться, и пошёл своей дорогой. Публичного скандала не произошло.

Неделю спустя Пак получил окончательную отставку мисс Холлис. Она сказала, что ошиблась в своих чувствах. Таким образом, ему пришлось уехать в Мадрас, где он не может принести большого вреда, даже если дослужится до полковника.

Чертон просил сведущего человека принять от него «бизару из Пури» в подарок.

Сведущий человек принял её и отправился прямо на извозчичью биржу, нашёл извозчичью лошадь с хомутом из голубых бус, спрятал «бизару» под него, привязав шнурком от башмаков, и возблагодарил небо, что избавился от опасности.

Мне теперь некогда вдаваться в объяснения по поводу «бизары из Пури», но, по мнению туземцев, вся сила в деревянной рыбке.

Вы скажете, что вся эта история выдумана. Прекрасно. Если вам когда-нибудь попадётся маленький серебряный ящичек с рубинами величиной в седьмую часть дюйма, а шириной в три четверти дюйма, с маленькой деревянной рыбкой, завернутой в парчу, то сохраните его. Берегите его три года, и тогда сами на себе испытаете, правда или выдумка мой рассказ.

История Мухаммад-Дина

Мяч для игры в поло был истёртый, исцарапанный, облупленный. Он лежал на полочке у камина, среди чубуков, которые чистил Имам-Дин, кхитмагар.

– Нужен этот мяч рождённому небом? – почтительно спросил Имам-Дин.

«Рождённый небом» не придавал мячу особенного значения, но на что кхитмагару мяч для игры в поло?

– С позволения вашей милости, у меня есть сынок. Он видел этот мяч, и ему хотелось бы поиграть с ним. Я прошу не для себя.

Никому и в голову не пришло бы заподозрить Имам-Дина в желании поиграть мячом. Он вынес истрёпанную игрушку на веранду, и затем послышался радостный визг, топанье маленьких ножек и подпрыгивание мяча на дорожке. Очевидно, «сынок» ждал за дверью, чтобы поскорее заполучить сокровище. Но каким образом он мог увидеть этот мяч?

На следующий день, вернувшись из конторы на полчаса раньше, я увидел в столовой маленькую фигурку – худенькую неуклюжую, в смешной рубашонке, доходившей до половины раздутого живота. Фигурка двигалась по комнате, засунув большой палец в рот и мурлыча что-то, рассматривая картины. Без сомнения, это был «сынок».

Конечно, ему нечего было делать у меня в комнате, но он так погрузился в созерцание своих открытий, что даже не заметил, как я вошёл. Когда я подошёл к нему, с ним чуть не случился обморок от испуга. Вскрикнув, он присел на пол. Глаза раскрылись и рот последовал их примеру. Я знал, что будет дальше, и обратился в бегство, преследуемый протяжным воем без слез, долетевшим до помещения прислуги гораздо быстрее, чем когда-нибудь доходило какое-нибудь из моих приказаний.

Через десять секунд Имам-Дин был уже в столовой. Послышались отчаянные рыдания, и, когда я вернулся, Имам-Дин увещевал маленького грешника, употреблявшего рубашонку вместо носового платка.

– Мальчишка – будмаш, большой будмаш, – бранил Имам-Дин, – уж наверное попадёт в джаил-кхани за своё поведение.

Новый взрыв отчаянных криков со стороны грешника и вычурное извинение по моему адресу от Имам-Дина.

– Скажи мальчику, что сахиб не сердится, и уведи его.

Имам-Дин передал моё прощение преступнику, собравшему уже всю рубашонку вокруг ворота в один жгут и уже не кричавшему, но рыдавшему. Оба направились к двери.

– Зовут его Мухаммад-Дин, – пояснил Имам-Дин, будто имя имело какое-нибудь отношение к преступлению, – и он будмаш.

Видя, что непосредственная опасность миновала, Мухаммад-Дин повернулся на руках отца и сказал серьёзно:

– Верно, тахиб, меня зовут Мухаммад-Дин, только я не будмаш. Я мужчина.

С этого дня началось моё знакомство с Мухаммад-Дином. Он уже никогда не заходил в мою столовую, но на нейтральной территории сада мы здоровались очень церемонно, хотя весь наш разговор ограничивался приветствиями: «Талаам, тахиб» с его стороны и «Салаам, Мухаммад-Дин» – с моей.

Каждый раз, когда я возвращался со службы домой, белая рубашка и кругленькое тельце показывались из-за вьющихся растений, затенявших веранду, и ежедневно я на этом месте задерживал лошадь, чтобы моё приветствие как-нибудь не оборвалось и не вышло бесцеремонным.

У Мухаммад-Дина не было товарищей. Он бегал по всему парку, то скрываясь за кустами клещевины, то появляясь из-за них, занятый какими-то одному ему известными делами.

Однажды я споткнулся о какое-то его сооружение в глубине сада. Он зарыл до половины мяч от поло в песок и воткнул вокруг него шесть завядших ноготков. Этот круг был обнесён второй оградой, сложенной из кусочков красного кирпича и черепков фарфора и обведённой маленькими валиками из пыли. Поливальщик, ходивший за кишкой, замолвил словечко за маленького архитектора, говоря, что эта детская забава не очень безобразит мой сад.

Господу известно, что я не намеревался трогать работу ребёнка ни в эту минуту, ни потом, но, бродя вечером по саду, я, не заметив сооружения, споткнулся о него, так что совершенно нечаянно наступил на цветы, валик и привёл в такой беспорядок черепки от мельницы, что не было никакой надежды восстановить постройку. На следующее утро я застал Мухаммад-Дина тихо плачущим над развалинами его трудов. Какой-то жестокий человек сообщил ему, будто сахиб рассердился на него за то, что он портит дорожки, и будто разбросал, бранясь, его черепки.

Мухаммад-Дин проработал целый час, стараясь уничтожить все следы валика и черепков, и смотрел на меня, явно прося извинения своими полными слез глазами, произносил своё обычное «Талаам, тахиб», когда встретил меня при моем возвращении домой со службы. Я поспешил узнать, в чем дело, и в результате Имам-Дин сообщил Мухаммад-Дину, что по особой милости ему дозволяется располагаться где угодно. После этого мальчик стал смелее и начал строить здание, которое должно было затмить сооружение с мячом и ноготками.

В течение нескольких месяцев маленький зодчий осуществлял свои фантазии на небольшом пространстве между кустами клещевины и дорожкой, постоянно сооружая великолепные дворцы из выброшенных цветов, отполированных водой камешков, осколков стекла и перьев, вероятно, от нашей домашней птицы. И всегда он был один и вечно мурлыкал себе под нос.

Как-то я положил пёструю морскую раковину возле последней из маленьких построек Мухаммад-Дина. Я ожидал, что он выстроит с её помощью что-нибудь необычайно великолепное. И я не разочаровался. Он размышлял больше часа, и мурлыканье перешло в торжествующую песню. Затем он начал чертить на песке. Вероятно, на этот раз возник бы чудный дворец, потому что план имел два ярда в длину и ярд в ширину. Но дворцу не суждено было быть воздвигнутым.

На следующий день Мухаммад-Дин не встретил меня у ворот, и я не услышал обычного «Талаам, тахиб». Я так привык к приветствию, что отсутствие его огорчило меня. Имам-Дин сказал мне, что у мальчика лёгкая лихорадка, и ему надо дать хины. Доктор-англичанин снабдил его лекарством.

– Нет в мальчугане жизненной силы, – сказал доктор, уходя от Имам-Дина.

Через неделю – много бы я дал, чтобы избежать этого – по дороге к магометанскому кладбищу я встретил Имам-Дина с одним его товарищем; они несли завернутым в белое полотно все, что осталось от маленького Мухаммад-Дина.